

СБОРНИКЪ  
ОТДѢЛЕНІЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.  
Томъ LXIV, № 9.

---

# ОТЧЕТЪ

ОБЪ

ОДИННАДЦАТОМЪ ПРИСУЖДЕНІИ ПРЕМІЙ

ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА

ВЪ 1895 ГОДУ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.  
Вас. Остр., 9 лин. № 12.

1896.

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.  
С.-Петербургъ, Декабрь 1896 г.

Непрежѣнный секретарь, Академикъ *Н. Дубровинъ*.

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

---

### Одиннадцатое присужденіе премій имени А. С. Пушкина.

СТРАН.

Отчетъ, читанный въ публичномъ засѣданіи Императорской Академіи Наукъ 19-го октября 1895 г. Предсѣдательствующимъ во II Отдѣленіи, Ординарнымъ академикомъ А. Ѳ. Бычковымъ . . . . .	1— 20
--	-------

---

### ПРИЛОЖЕНІЯ:

Разборъ перевода П. И. Вейнберга трагедіи Шиллера: «Марія Стюартъ», составленный проф. А. Н. Кирпичниковымъ . . . . .	21— 51
II. «Сочиненія А. Лугового. Три тома. СПб. 1895 г.» — рецензія, составленная К. К. Арсеньевымъ . . . . .	51— 71
III. Разборъ книги г. К. Случевского — «Историческія картинки.— Разные рассказы» (Изд. 2, СПб. 1894 г.), — составленный Вл. С. Соловьевымъ . . . . .	72— 97
IV. «Федра», трагедія въ 5 дѣйствіяхъ въ стихахъ Ж. Расина. Переводъ въ стихахъ размѣромъ подлинника Л. Поливанова, Москва 1895 г.» — Рецензія, составленная Ѳ. Д. Батюшковымъ . . . . .	98—116

---

Digitized by the Internet Archive  
in 2024

## ОДИННАДЦАТОЕ ПРИСУЖДЕНІЕ ПУШКИНСКИХЪ ПРЕМІЙ.

Отчетъ, читанный въ публичномъ засѣданіи Императорской Академіи Наукъ  
19-го октября 1895 года председательствующимъ во II Отдѣленіи,  
Ординарнымъ академикомъ А. Ѳ. Бычковымъ.

---

На соисканіе въ 1895 году премій А. С. Пушкина поступило въ Отдѣленіе русскаго языка и словесности 13 сочиненій, къ которымъ было еще присоединено одно, представленное на конкурсъ 1894 года, но отложенное по случаю недоставленія на него рецензій. Изъ 14-ти сочиненій, подлежавшихъ разсмотрѣнію, одно положено перенести на конкурсъ 1896 года, такъ какъ лицо, которому была поручена его оцѣнка, сообщило Отдѣленію, что оно не можетъ представить рецензію къ назначенному сроку. Въ числѣ подлежавшихъ разсмотрѣнію сочиненій были: три сборника стихотвореній, пять переводовъ въ стихахъ драматическихъ произведеній съ англійскаго, греческаго, нѣмецкаго и французскаго языковъ и пять сочиненій въ прозѣ.

Послѣ предварительнаго ознакомленія съ представленными на конкурсъ сочиненіями, для ближайшаго и подробнаго ихъ разсмотрѣнія были избраны рецензенты. Критическую оцѣнку шести сочиненій приняли на себя члены Отдѣленія, а для разбора остальныхъ семи были приглашены посторонніе ученые и литераторы.



По полученіи рецензій была образована, согласно съ правилами о Пушкинскихъ преміяхъ, комиссія, состоявшая изъ шести членовъ Отдѣленія и пяти стороннихъ рецензентовъ. На основаніи прочитанныхъ въ комиссіи рецензій, произведена была баллотировка, вслѣдствіе которой удостоены половинной преміи переводъ П. И. Вейнберга трагедіи Шиллера «Марія Стюартъ» и признаны заслуживающими почетнаго отзыва: «Сочиненія А. Лугового», «Историческія картинки». — «Разные разсказы» К. К. Случевского и исполненный Л. И. Поливановымъ переводъ въ стихахъ трагедіи Расина «Федра».

---

Оцѣнку перевода П. И. Вейнберга трагедіи Шиллера «Марія Стюартъ» принялъ на себя членъ-корреспондентъ Отдѣленія, профессоръ Новороссійскаго университета А. И. Кирпичниковъ. Своему разбору онъ предпослалъ очеркъ исторіи возникновенія этого произведенія Шиллера, при чемъ привелъ соображенія, почему избранная Шиллеромъ историческая тема, покинутая имъ въ 1783 году, показалась ему особенно привлекательною въ 1799 году. Перерабатывая эту тему въ драму, Шиллеръ съ одной стороны воспроизвелъ многія мелкія черты, найденныя имъ въ источникахъ и пособіяхъ, а съ другой предоставилъ свободный ходъ своему творчеству: создалъ рядъ мотивовъ, лицъ и сценъ, не бывшихъ въ дѣйствительности, и между прочимъ 45-тилѣтнюю, полусѣдую, изнуренную долгимъ заключеніемъ героиню обратилъ въ цвѣтущую 25-тилѣтнюю красавицу, способную рѣзвиться какъ ребенокъ, а характеръ ея настолько обѣдиль страданіемъ и раскаяніемъ, что къ концу драмы она напоминаетъ идеально-чистыхъ шекспировскихъ героинь. Какую идею проводилъ Шиллеръ, пересоздавая такимъ образомъ исторію? По мнѣнію рецензента, всякое истинно-художественное произведеніе большого объема систематически

проводить прежде всего одну идею — *идею красоты*, преслѣдуетъ прежде всего одну задачу — *воспроизвести жизнь*, освѣтивъ ее *свѣтомъ добра и правды*. Эту же общую задачу рѣшаетъ и Шиллеръ въ «Маріи Стюартъ», и его трагедія является не трагедіей *судьбы*, не *религіозной* и не *политической*, а *этической* драмой, какъ и всякое другое истинно-художественное поэтическое произведеніе этого рода, какъ напримѣръ «Борисъ Годуновъ» Пушкина. Языкъ «Маріи Стюартъ» своею простою, опредѣленною и драматическою живостью значительно превосходитъ языкъ прежде появившихся трагедій Шиллера. Каждое дѣйствующее лицо говоритъ сообразно своему характеру и настроенію: не только холодный, сдержанный, часто двусмысленный, почти змѣиный языкъ Елисаветы рѣзко отличается отъ искренняго, то грустнаго, то исполненнаго оскорбленнаго достоинства, и только въ концѣ «свиданія королевъ» язвительно побѣдоноснаго тона Маріи; не только рѣчь Мортимера, исполненная страстности, а въ 6-мъ явленіи III-го дѣйствія полубезумнаго патологическаго возбужденія, но и энергическая, суровая рѣчь Бёрлея характерно отличаются отъ ворчливаго, иногда грубаго, но въ сущности добродушнаго способа выраженія сэра Паулета и отъ ловкой, гибкой, какъ шпага, рѣчи Лейчестера. Только одинъ Шрёсбери говоритъ такъ, какъ говорилъ бы на его мѣстѣ самъ поэтъ, но и въ его тонѣ можно подмѣтить типичный оттѣнокъ старческаго спокойствія.

Слѣдуя примѣру Шекспира, Шиллеръ вставляетъ римо-ванные стихи среди бѣлыхъ, и къ этому вполне художественному средству поднимать тонъ онъ прибѣгаетъ въ «Маріи Стюартъ» довольно часто, и принимаетъ, большею частію съ промежутками, цѣлые монологи, произносимые въ состояніи сильнаго душевнаго возбужденія.

«Трагедія «Марія Стюартъ» — говоритъ г. Кирпичниковъ — представляетъ для переводчика задачу привлекательную, но очень не легкую, вслѣдствіе разнообразія тона и стиха; даровитый и опытный переводчикъ можетъ показать на возсозда-



ніи ея всю свою силу, но онъ долженъ много поработать надъ пьесой, чтобы красиво и вѣрно передать оттѣнки ея діалоговъ и лирическихъ монологовъ».

Въ общемъ переводъ трагедіи Шиллера, представленный П. И. Вейнбергомъ на соисканіе преміи имени А. С. Пушкина, вполне достоинъ и великаго произведенія и почетной извѣстности переводчика. Переводъ этотъ, правда, не принадлежитъ къ крайне ограниченному во всѣхъ литературахъ числу тѣхъ классически-прекрасныхъ переводовъ, которые каждой поэтической фразой передаютъ всю силу и красоту соотвѣтствующей фразы подлинника; къ созданію такихъ переводовъ способны или первоклассные самостоятельные поэты или такіе талантливые литераторы, которые имѣютъ досугъ посвятить десятки лѣтъ на изученіе и воссозданіе одного классическаго произведенія. Г. Вейнбергъ, безъ сомнѣнія, литераторъ превосходно подготовленный и талантливый, но такого досуга, сколько намъ извѣстно, онъ не имѣетъ, и ему представлялись два пути: или передавать вѣрно смыслъ содержанія и тонъ каждаго отдѣльнаго монолога и реплики, или воспроизводить каждый образъ, каждую фразу стихотворнаго оригинала, не жалѣя при этомъ лишнихъ словъ и даже стиховъ. Онъ избралъ второй путь, по убѣжденію г. Кирпичникова, единственно достойный такихъ поэтовъ, какъ Шекспиръ, Гёте и Шиллеръ, а такъ какъ способъ выраженія переводчика естественно оказывается слабѣе, чѣмъ въ оригиналѣ, то по этому г. Вейнбергъ часто нуждается въ двойномъ числѣ стиховъ, чтобы выразить все то, что находитъ онъ у Шиллера, и потому при подстрочномъ сличеніи переводъ кажется какъ будто водянистымъ, разбавленнымъ. Но переводы дѣлаются не для подстрочнаго сличенія, а для чтенія тѣхъ, кому не вполне доступенъ оригиналъ; забудемъ его на время, и эти 200—300 лишнихъ стиховъ безъ вреда для произведенія органически сольются съ остальными, и общій тонъ благороднаго, дѣйствиительно-чистаго и философски-вдумчиваго, но несвободнаго отъ нѣкоторой реторичности міровоззрѣнія и соот-



вѣтствующаго ему способа выраженія Шиллера оказывается прекрасно выдержаннымъ. Отлично зная нѣмецкій языкъ, г. Вейнбергъ добросовѣстно изучилъ текстъ и не пренебрегъ даже и комментаріями, а затѣмъ усердно поработалъ надъ переводомъ, при чемъ огромную пользу оказалъ ему его значительный стихотворный талантъ: онъ вполне овладѣлъ техникою свободного ямба Шиллера, старательно, безъ замѣтныхъ для читателя усилій, замѣнялъ его другими размѣрами, гдѣ таковыя оказывались въ оригиналѣ, и съ замѣчательною настойчивостью и искусствомъ вводилъ звучныя рѣзкія во всѣхъ соотвѣтствующихъ мѣстахъ.

Чтобы показать, насколько внимательно и умѣло воспроизвелъ г. Вейнбергъ мелкія частности подлинника, особенно трудныя для перевода, г. Кирпичниковъ привелъ два мѣста, заключающія въ себѣ такъ называемую игру словъ. Во 2-мъ явленіи I-го дѣйствія Марія Стюартъ говоритъ своей кормилицѣ Кеннеди:

Beruhige dich, Hanna. Diese Flitter machen  
Die Königin nicht aus. Man kann uns *niedrig*  
Behandeln, nicht *erniedrigen*.

Г. Вейнбергъ переводить:

— Утѣшься, Анна!  
Монаршій санъ не этой мишурой  
Дается намъ, и если можно *низко*  
*Со мною обращаться, то унижить*  
Меня нельзя.

Еще труднѣе для перевода является тотъ рѣзкій и грязный сарказмъ, которымъ королева Елисавета окончательно выводитъ изъ себя несчастную Марію:

Fürwahr! Der Ruhm war wohlfeil zu erlangen,  
Es kostet nichts *die allgemeine Schönheit*  
Zu sein, als *die gemeine sein für alle!*

Г. Вейнбергъ перевелъ его и просто, и точно:

Ну, пріобрѣсть такую славу можно  
 Не дорого: *всесвѣтной красотой*  
 Прослыть легко тому, кто *достоянье*  
*Всесвѣтное.*

Мы были бы принуждены — прибавляетъ рецензентъ — написать по крайней мѣрѣ третью пьесу, если бы вздумали перечислять всѣ мѣста, гдѣ проявляется рѣдкій тактъ переводчика и его способность передавать и общій тонъ и мелкія частности подлинника.

Конечно, нельзя ожидать, чтобы въ переводѣ большой пятиактной трагедіи, заключающей въ себѣ около 7000 стиховъ, не встрѣтилось недосмотровъ и промаховъ. И тѣ и другіе, даже очевидныя опечатки, перечисляетъ рецензентъ не въ упрекъ переводчику, но въ увѣренности, что онъ воспользуется его указаніями при новомъ изданіи своего труда.

Въ заключеніе своей рецензіи г. Кирпичниковъ предлагаетъ Отдѣленію въ виду того, что недостатки перевода г. Вейнберга, сами по себѣ немногочисленные сравнительно съ объемомъ произведенія, съ избыткомъ покрываются его достоинствами, присудить ему премію въ томъ размѣрѣ, въ какомъ Отдѣленіе признаетъ это справедливымъ. Комиссія единогласно присудила г. Вейнбергу половинную премію.

Для оцѣнки сочиненій А. Лугового, весьма разнообразныхъ и по формѣ, и по содержанію, Отдѣленіе обратилось къ К. К. Арсеньеву, съ готовностію изъяснившему на это согласіе. Для удобства разбора уважаемый рецензентъ выдѣлилъ изъ сочиненій Лугового три группы повѣстей и разсказовъ: 1) анекдотическаго свойства, 2) о маленькихъ людяхъ и ихъ «неза-

мѣтномъ существованіи» и 3) изъ народнаго быта. Затѣмъ отдѣльно разсмотрѣлъ пьесы для театра, стихотворенія и наиболѣе выдающіяся произведенія—«Грани жизни» и «Pollice verso».

Къ разсказамъ анекдотическаго свойства, наименѣе важнымъ между сочиненіями г. Лугового, г. Арсеньевъ отнесъ тѣ, которые, не имѣя притязанія ни на характеристику дѣйствующихъ лицъ, ни на изображеніе той или другой стороны общественной жизни, воспроизводятъ какую-либо сцену или пересказываютъ какія-нибудь событія и представляютъ интересъ чисто внѣшній. При выборѣ подобныхъ темъ все зависитъ отъ ихъ обработки, а г. Луговому, по словамъ рецензента, не дано умѣнья заставить забыть, при помощи художественнаго выполненія, незначительности содержанія. Изъ этого отдѣла разсказовъ, которые всѣ разсмотрѣны подробно, по своей основной мысли, но не по исполненію, выдѣляется «Альміроръ», герой котораго скромный учитель, работающій надъ созданіемъ новаго всемірнаго языка, болѣе благозвучнаго, чѣмъ волапюкъ, болѣе простого, чѣмъ эсперанто, — и «Счастливецъ» — самый удачный изъ разсказовъ. Главному дѣйствующему лицу — разорившемуся барину, «опростившемуся» не въ смыслъ героевъ Тургеневской «Нови» и не по образцу Льва Толстого, а скорѣе по примѣру древнихъ циниковъ, — нельзя отказать въ оригинальности. Это только силуэтъ, но силуэтъ типичный, и «Счастливецъ» надолго останется въ памяти читателя.

Второй отдѣлъ разсказовъ отличается отъ перваго болѣею серьезностію замысла, болѣею тщательностію отдѣлки. Это болѣе или менѣе законченныя картины, въ которыхъ авторъ желаетъ проникнуть въ тѣ общественныя низины, гдѣ жизнь течетъ медленно, однообразно, но все же приносить съ собой и радость, и невзгоды. Рецензентъ, указавъ на нѣкоторые недостатки произведеній, отнесенныхъ имъ къ этому отдѣлу, останавливаетъ вниманіе на разсказѣ «Тепломъ повѣяло». Передъ нами проходитъ здѣсь только одинъ день изъ жизни Порфирія Ивановича, но этотъ день бросаетъ яркій свѣтъ на все его про-



шедшее. Къ старику, рано овдовѣвшему и оттолкнувшему отъ себя единственную дочь, потому что она задумала выйти замужъ противъ его воли, пріѣзжаетъ неожиданно внучка, которой онъ никогда не видалъ и о самомъ существованіи которой ничего не зналъ. Онъ застылъ въ своемъ равнодушіи ко всему и ко всѣмъ, въ спокойствіи своего безвреднаго, но столь же бесполезнаго одиночества. Безхитростные рассказы внучки, ея простая, откровенная бесѣда пробуждаютъ его отъ этого полусна и наводятъ его на мысль, что вся прежняя его жизнь была сплошною ошибкою, что онъ гораздо болѣе виноватъ передъ умершей дочерью, чѣмъ дочь — передъ нимъ. Конечно, раскаяніе Порфирія Петровича не можетъ быть особенно горькимъ, поворотъ его къ другому настроенію особенно рѣзкимъ; но все же мимоходомъ «повѣявшее тепло» оставляетъ его не тѣмъ, чѣмъ онъ былъ раньше. Рассказъ проникнуть искреннею задушевностію и вмѣстѣ съ тѣмъ большою сдержанностію; нѣтъ ничего натянутого, ничего лишняго; очень тонко намѣчено отсутствіе внутренней связи между дѣдомъ и внучкой, которые, по напвному выраженію послѣдней, въ одинъ день, несмотря на радость встрѣчи, «все переговорили».

Къ третьей категоріи рассказовъ г. Лугового — изъ народнаго быта — принадлежать: «Не судилъ Богъ», «Однимъ часомъ», «За грозой вѣдро» и «Швейцаръ». «Не судилъ Богъ» — первый опытъ г. Лугового въ области беллетристики — до сихъ поръ остается однимъ изъ лучшихъ его рассказовъ. Нельзя не пожалѣть, что г. Луговой съ 1889 года ни разу не возвращался къ рассказамъ изъ народнаго быта, которые имѣютъ несомнѣнные достоинства. Послѣ этихъ рассказовъ г. Арсеньевъ разсматриваетъ двѣ пьесы, написанныя для театра. «За золотымъ руномъ» есть рядъ сценъ удачныхъ именно по столько, по сколько идетъ рѣчь о «Золотомъ рунѣ» въ образѣ никому, кромѣ самихъ аргонавтовъ, ненужной желѣзной дороги. Безмѣрное легкомысліе, съ которымъ задумываются подобныя предпріятія, жадность однихъ, наивность другихъ, мелкая расчетливость

третьихъ изображены мѣстами не дурно; особенно удачно совѣщаніе «предпринимателей» въ первомъ дѣйствіи и составленіе по азбучному порядку списка товаровъ, которые будетъ перевозить новая дорога — во второмъ. Новаго впрочемъ, замѣчаетъ г. Арсеньевъ, во всемъ этомъ мало; спекулятивная горячка — тема довольно избитая. Выпукло очерченныхъ характеровъ нѣтъ. Второстепенное дѣйствіе, переплетенное съ главнымъ — сватовство у Косолаповыхъ — ничего не прибавляетъ къ интересу пьесы; превращеніе молодого Коломнина изъ пустѣйшаго хлыща и искателя Фортуны въ человѣка способнаго полюбить искренно и безкорыстно остается совершенно не обоснованнымъ.

Драма «Озимъ» хотя по замыслу серьезнѣе только что разсмотрѣнной, но много теряетъ отъ господствующей въ ней тенденціозности. Содержаніе ея избитая исторія неравнаго брака — выходъ сравнительно образованной дѣвушки въ замужество за добродушнаго, но мало развитого, безхарактернаго сына богатаго кулака-виноторговца, чтобы спасти отъ разоренія нѣжно любимаго ею отца. Приносимая ею жертва должна составить своего рода «служеніе родинѣ», такъ какъ на ней будетъ лежать обязанность вдохнуть въ мужа новую жизнь, подчинивъ его своему вліянію, воспитать новое лучшее поколѣніе, а для всего этого можно пожертвовать и личнымъ счастьемъ, и даже жизнью, не требуя себѣ за то награды. Но вѣрность такого положенія сомнительна и нѣтъ основанія для увѣренности, что такая перемѣна совершится.

Стихотворенія г. Лугового, по мнѣнію рецензента, едва ли могутъ что-нибудь прибавить къ его литературной извѣстности. Одни изъ нихъ очень напоминаютъ Некрасова, Гейне, Бенедиктова, а другія написаны на темы давно знакомыя. Впрочемъ, встрѣчаются между его стихотвореніями и удачныя, какъ напримѣръ «Юморъ».

Юморъ, какъ рѣзвый ребенокъ, игривъ и безпеченъ,  
Дерзокъ, какъ мощный титанъ, Громовержца хулителъ,

Глубокомысленъ, какъ вѣщій поэтъ и мыслитель,  
Разнообразенъ, какъ жизнь,—и, какъ міръ, безконеченъ.

Въ своемъ разборѣ г. Арсеньевъ долѣе остановился на «Pollice verso» и на «Граняхъ жизни». Мысль перваго произведенія дѣйствительно очень счастливая. Показать, какъ люди развѣнчиваютъ своего кумира, передъ которымъ они преклонялись, за одинъ неудачный его шагъ, за одинъ промахъ, и иногда рукоплещутъ его гибели и даже требуютъ ея. Въ рядѣ сценъ, относящихся къ различнымъ странамъ и эпохамъ, проведена очень удачно эта мысль. Сначала передъ читателемъ изображается римскій циркъ временъ имперіи, бой гладіаторовъ, паденіе одного изъ нихъ и осужденіе его на смерть еще недавно восторгавшимся имъ зрителями. Затѣмъ авторъ переноситъ читателя въ Испанію и живо рисуетъ передъ нимъ бой быковъ въ Мадритѣ; любимому популярному матадору, «первой шпагѣ Испаніи», не удастся сразу убить быка по всѣмъ правиламъ искусства—и его осыпаютъ оскорбленіями, называютъ мясникомъ, убійцею, бросаютъ въ него окурки и апельсинныя корки и даже обвиняютъ въ трусости; третья сцена происходитъ въ Антверпенѣ, въ театрѣ: публика требуетъ отъ директора, чтобы онъ возобновилъ ангажементъ съ излюбленнымъ ею пѣвцомъ, и не хочетъ слушать дебютанта, приглашеннаго на его мѣсто; директоръ настаиваетъ на дебютѣ — и несчастный пѣвецъ, разстроенный и больной, поетъ черезъ силу, терпитъ полнѣйшее фiasco и умираетъ черезъ нѣсколько дней отъ воспаленія легкихъ. Наконецъ дѣйствіе переносится въ Россію, въ наше время. Молодому хирургу, быстро достигшему знаменитости, не удастся операція, отчасти вслѣдствіе ошибки въ діагнозѣ, отчасти по винѣ завидующаго ему товарища; больная умираетъ подъ ножомъ. Въ довершеніе бѣды, операторъ, замѣтивъ устроенную ему ловушку, тутъ же, не окончивъ операціи, даетъ пощечину своему сопернику. За неудачей начинается рядъ невзгодъ для доктора. Мужъ умершей называетъ его убійцею и бросаетъ ему деньги; въ печати появляются



статьи, излагающія дѣло въ самомъ неблагопріятномъ для него свѣтѣ; паціенты одинъ за другимъ его оставляютъ; ему приходится оправдываться передъ факультетомъ; даже въ женѣ, имъ любимой, онъ не находитъ поддержки и сочувствія. Переносить все это и бороться приходится ему не по силамъ — и онъ рѣшается на самоубійство.

Кромѣ третьей картины, которая плохо вяжется съ цѣлымъ, такъ какъ публика ничѣмъ не связана съ пѣвцомъ и смерть его развѣ въ самой незначительной степени зависѣла отъ понесенной имъ неудачи, всѣ остальные обрисовываютъ какъ нельзя лучше основную мысль произведенія. Римскій циркъ, мадритская арена изображены рельефно и ярко; безсердечное легкомысліе праздной толпы, совершенно одинаковое на протяженіи многихъ столѣтій, развертывается передъ нами во всѣхъ отгѣнкахъ и переходахъ отъ преклоненія передъ успѣхомъ до жестокаго *vae victis*. Эту же толпу мы узнаемъ и въ обществѣ, такъ быстро отворачивающемся отъ своего недавняго медицинскаго кумира. Сводя счеты съ своимъ прошедшимъ, докторъ выведенный на сцену г. Луговымъ, не только строгъ по отношенію къ другимъ, но онъ творитъ судъ и надъ самимъ собою, и именно потому такъ суровъ произносимый имъ приговоръ. Страницы, посвященные этому ретроспективному анализу, принадлежатъ къ числу самыхъ сильныхъ въ «*Pollice verso*»; жаль, что ихъ нѣсколько портятъ длинные выписки изъ Шопенгауера.

«Грани жизни»—единственный романъ, написанный г. Луговымъ. Главныя дѣйствующія лица романа: Нерамова и Сарматовъ. Заурядная эгоистка въ первой части, кандидатка въ камеліи—во второй, потомъ, въ качествѣ модной портнихи, систематически грабящая своихъ заказницъ, думающая только о себѣ, Нерамова превращается подъ конецъ въ самоотверженно любящую женщину и радѣтельница о народѣ. Сарматовъ, еще въ 40 лѣтъ отличавшійся отъ «праздныхъ шалопаевъ» только тѣмъ, что онъ «мыслилъ», а потомъ уставшій и мыслить, также возвышается однимъ скачкомъ до стремленій къ общественному благу

и умпраеть ихъ мученикомъ, наканунѣ осуществленія еще болѣе широкихъ плановъ. «Все это очень симпатично—говорить рецензентъ,—но мало правдоподобно; въ рѣчахъ и поступкахъ Нерамовой и Сарматова, послѣ ихъ обновленія, мы слышимъ и видимъ гораздо меньше ихъ самихъ, чѣмъ автора». Г. Арсеньевъ, весьма подробно разсмотрѣвшій романъ, находитъ, что отдѣльныя части его соединены между собою больше внѣшнею, чѣмъ внутреннею связью. Въ «Граняхъ жизни» рѣзко обнаруживается наклонность автора къ роли проповѣдника или лектора, что во многомъ вредитъ достоинству романа. Теоретическія воззрѣнія самого автора, его надежды, его мечты, чужіе взгляды, поразившіе его своей оригинальностью, сдѣланныя имъ наблюденія въ разныхъ сферахъ общественной жизни—все это не слито въ одно гармоническое цѣлое. Подавляющее обиліе матеріала затемняетъ основную мысль романа, выраженную, повидимому, въ слѣдующихъ словахъ Сарматова, сказанныхъ на фабриктѣ, при видѣ старика гравера, подъ рукой котораго на поверхности хрустальной чаши появляются все новыя грани и новыя узоры: «Жизнь человѣка въ рукахъ Сатурна, какъ чаша въ рукахъ гравера. И въ нашемъ сердцѣ время проводитъ грани за гранями, и чѣмъ ихъ больше, чѣмъ онѣ тоньше, тѣмъ драгоцѣннѣе чаша жизни. Но грани—предѣлы. Немножко въ сторону, немножко за грань, и красота нарушена; немножко глубже чѣмъ слѣдуетъ—и, вмѣсто грани—трещина. Перекрещиваются между собою тысячи граней, и звонкая чаша горитъ алмазами; нѣсколько трещинъ на ней—и она разбита».

Несмотря на нѣкоторые недостатки Сочиненій г. Лугового, коммиссія, принимая во вниманіе имѣющіяся въ нихъ достоинства, постановила удостоить ихъ почетнаго отзыва.

---

Разсмотрѣніе книги К. К. Случевскаго «Историческія картинки. — Разные рассказы» принялъ на себя, по просьбѣ Отдѣленія, Вл. С. Соловьевъ.

«Книга г. Случевского — говорятъ рецензентъ — весьма замѣчательна разнообразіемъ своего содержанія. Жизнь до-историческая, міръ древне-греческій, евангельская исторія и эпоха мучениковъ, средніе вѣка во Франціи и въ Италіи, введеніе христіанства въ Россію, эпоха Возрожденія, Московская Русь, жизнь италіанскихъ художниковъ новаго времени, эпоха Императрицы Екатерины II, древніе міфы Восточной Азіи и современная міеологія мурманскихъ поморовъ, міръ дѣтей и міръ военныхъ, древній Вавилонъ и современная финская деревня, пестербургскій свѣтъ и міръ провинціальныхъ чудаковъ — вотъ области, мимо-летно освѣщаемыя фантазіею г. Случевского. Сверхъ того авторъ счелъ нужнымъ прибавить къ «Донъ-Кихоту» Сервантеса новую главу собственнаго сочиненія, а также дополнить сказки «1001 ночи» еще одною, «тысяча-второю ночью».

К. К. Случевскій — писатель заслуженный. Болѣе 30 лѣтъ тому назадъ онъ обратилъ на себя вниманіе литературныхъ круговъ какъ начинающій, и съ того времени имя его весьма часто появляется въ печати.

Г. Соловьевъ прежде всего разсматриваетъ тѣ произведенія, которыя помѣщены въ концѣ книги въ трехъ отдѣлахъ: «Мурманскіе очерки», «Изъ свѣтской жизни», «Сцены и наброски».

Мурманскіе очерки почти безукоризненны. И природа, и бытъ людей нашей полярной окраины, гдѣ тяжелыя климатическія условія не только не придавили русскаго человѣка, а, напротивъ, вызвали къ проявленію лучшія стороны его характера, — представлены г. Случевскимъ очень живо и просто. Свой языкъ онъ очень удачно и въ мѣру обогащаетъ выразительными словами мѣстнаго поморскаго нарѣчія.

Послѣ «Мурманскихъ очерковъ» слѣдуетъ отнести съ похвалою къ автору за нѣкоторые рассказы «изъ свѣтской жизни» и за нѣкоторые изъ «сценъ и набросковъ». «Вообще при достаточно тонкой наблюдательности — говоритъ г. Соловьевъ, — авторъ обладаетъ душевною чувствительностію, и, когда ему приходится отзываться на «впечатлѣнья бытія» не очень сложныя



и мудренныя, затрогивающія въ его сердцѣ лирическія струны, ему удастся создавать произведенія съ истиннымъ художественнымъ достоинствомъ».

Разсказы подъ двумя рубриками: «Типы» и «Фантазія» отличаются главнымъ образомъ оригинальностью сюжетовъ; достоинство этихъ разсказовъ составляютъ описанія и въ особенности разговоры, изложенные живымъ, естественнымъ языкомъ, иногда съ примѣсью легкаго юмора.

Изъ отдѣла «Фантазій» наиболѣе удачною со стороны художественности должна быть признана «Альгоя» — поэтическая сказка изъ южно-сибирскихъ преданій. Повидимому, здѣсь случайно соединены два различныхъ сказанія — одно о гибели какой-то доисторической цивилизаціи, развратнаго города въ родѣ Содома и Гоморы, и другое чисто-мифологическое, о происхожденіяхъ богини цвѣтовъ. Между этими двумя сюжетами нѣтъ внутренней связи, что вредитъ общему впечатлѣнію.

Въ разсказѣ «Өеклуша» г. Случевскому удалось немногими живыми чертами создать образъ забитой полу-русской, полу-финской крестьянки, сохраняющей въ своей забитости и чело-вѣчность, и женственность, но, къ сожалѣнію, мысль придѣлать къ этому образу историческія происхожденія души древняго Вавилонянина испортила цѣльность этого маленькаго разсказа. Кромѣ того г. Соловьевъ указываетъ въ немъ ошибки и обмолвки по части исторіи.

За симъ рецензентъ переходитъ къ разсмотрѣнію отдѣла «Историческихъ картинокъ» и усматриваетъ въ нихъ, такъ же, какъ и въ другихъ произведеніяхъ г. Случевского, противоположную художественную склонность къ разсужденіямъ, что и составляетъ главный недостатокъ автора.

Очеркъ «На мѣсто!» — есть самый интересный по замыслу между «историческими картинками» г. Случевского. Итальянскій художникъ эпохи Возрожденія съ природнымъ талантомъ къ миниатюрной живописи, мучимый чрезмѣрнымъ честолюбіемъ, хочетъ соперничать съ великанами искусства и пишетъ на библей-

скіе и классическіе сюжеты огромные холсты, не имѣющіе никакого достоинства. Въ настойчивой и безуспѣшной погонѣ за славою онъ мимоходомъ губить любящую его женщину и только подъ конецъ жизни, когда ему уже ничего не нужно, приходитъ къ самопознанію и нравственному возрожденію. «Какой прекрасный сюжетъ — говоритъ рецензентъ — и какимъ поучительнымъ произведеніемъ обогатилъ бы почтенный авторъ нашу литературу, если бы какъ слѣдуетъ сосредоточился на художественномъ исполненіи своего замысла, а таланта для такого исполненія у него навѣрное бы хватило». Но неправильно понимая задачу «исторической картинки», онъ раздѣлил свой холстъ на двѣ половины: на одной набросано нѣсколько фигуръ и положеній, болѣе или менѣе удачно воплощающихъ идею разсказа, а вся другая половина картины занята каедрой, съ которой авторъ преподаетъ не безъ ошибокъ урокъ изъ исторіи.

Крайне неудаченъ по мысли и по исполненію разсказъ изъ евангельской исторіи «Великіе дни». Г. Соловьевъ подробно его разсматриваетъ и указываетъ его недостатки.

Наполнивъ большую часть своего произведенія ненужнымъ пересказомъ евангельскаго повѣствованія съ неудачными дополненіями и замѣчаніями, г. Случевскій удѣлил слишкомъ мало мѣста для изображенія тѣхъ лицъ, которыя могли бы дать смыслъ его разсказу, именно римскаго легіонера, обращающагося ко Христу, и вдовы хозяйки того дома въ Эммаусѣ, гдѣ остановился воскресшій Спаситель съ двумя учениками. Эти два лица могли бы быть интересными, если бы авторъ сдѣлалъ ихъ средоточіемъ своего изложенія, но въ теперешнемъ своемъ видѣ, поспѣшно и мимоходомъ набросанныя, они являются только лишнимъ придаткомъ.

Несмотря на нѣкоторые недостатки, сильное впечатлѣніе производитъ разсказъ изъ временъ царя Іоанна Грознаго «Въ скудельницѣ», — въ которомъ изображается наѣздъ опричниковъ на село скудельничье. Это одно изъ самыхъ талантливыхъ и серьезныхъ произведеній г. Случевского.

Изъ произведеній, вошедшихъ въ разбираемую книгу, самое большое и, повидимому, самое значительное въ глазахъ автора, носить заглавіе: «Профессоръ безсмертія».

Въ этомъ разсказѣ въ уста доктора медицины, Петра Ивановича Абадулова, чудака перваго разбора, авторомъ вложенъ цѣлый рядъ идей, относящихся къ предметамъ въ высшей степени интереснымъ и важнымъ — къ загробной жизни, къ молитвѣ, къ значенію Іисуса Христа и Церкви. Большая часть разсказа посвящена изложенію идей Петра Ивановича по его «тезисамъ», а также въ разговорахъ съ гостемъ, посѣтившимъ его. Удовлетворить требованіямъ отчетливой и послѣдовательной мысли авторъ разсказа, конечно, не имѣлъ и притязанія; никакихъ прозрѣній въ глубь предмета, никакихъ мыслей, разомъ озаряющихъ темные вопросы, мы здѣсь не находимъ. Да и самъ авторъ, очевидно, не полагался на силу своего творчества въ этой области, потому что на каждомъ шагу, вмѣсто того чтобы говорить о дѣлѣ, онъ только ссылается на разные дѣйствительные и мнимые авторитеты. Изъ полусотни именъ развѣ только три или четыре приведены кстати, всѣ остальные потревожены совершенно напрасно и успѣшно могли бы быть замѣнены другими или же и вовсе опущены.

На профессора безсмертія можно было бы смотрѣть просто какъ на *типъ* «естественника» и медика, собственнымъ умомъ доходящаго до основныхъ истинъ метафизики и религіи. Такой типъ, представлявшійся прежде лишь единичными лицами, за послѣднее время начинаетъ все болѣе и болѣе распространяться, и г. Случевскій, остановившись на немъ, показалъ похвальную отзывчивость на явленія дѣйствительности. Но ошибочно представивъ проповѣдь Петра Ивановича, какъ нѣчто оригинальное и значительное само по себѣ, и наполнивъ ею большую часть своего разсказа, авторъ существенно повредилъ художественному его характеру.

Петръ Ивановичъ есть лицо живое и правдиво очерченное въ повѣствовательной и описательной части разсказа, но отно-



шеніе къ нему автора основано на заблужденіи; свое справедливое уваженіе къ нравственному характеру своего героя г. Случевскій перенесъ и на его идеи, которыя сами по себѣ нисколько не замѣчательны.

Указавъ въ книгѣ г. Случевского какъ то, что въ ней имѣется талантливаго, такъ и то, что въ ней является слабымъ и неудачнымъ, рецензентъ заключаетъ свой разборъ замѣчаніемъ, что, несмотря на всѣ недостатки, онъ находитъ въ произведеніяхъ К. К. Случевского литературный талантъ, заслуживающій вниманія и признанія.

Комиссія, выслушавъ отзывъ рецензента, постановила наградить книгу г. Случевского почетнымъ отзывомъ.

---

Почетнымъ отзывомъ также удостоенъ исполненный Л. И. Поливановымъ переводъ въ стихахъ трагедіи Расина «Федра».

Г. Поливановъ уже нѣсколько лѣтъ трудится надъ переводами французскихъ классиковъ, и его дѣятельность въ этомъ направленіи неоднократно заслуживала одобреніе Отдѣленія. На этотъ разъ неутомимый переводчикъ избралъ для перевода трагедію Расина «Федра», которая уже была нѣсколько разъ переводима на русскій языкъ. Сравнительно съ предшествовавшими переводами трудъ г. Поливанова стоитъ неизмѣримо выше, и поэтому Ѳ. Д. Батюшковъ, котораго Отдѣленіе просило дать отзывъ объ этомъ новомъ переводѣ, устранилъ отъ сравненія всѣ старинные переводы, какъ не отвѣчающіе современнымъ требованіямъ и представленіямъ о правильномъ, выработанномъ литературномъ языкѣ, и въ доказательство того привелъ изъ этихъ переводовъ нѣсколько примѣровъ. Языкъ Расина считается образцовымъ по выработанности, мелодичности, изумительной простотѣ и ясности. Эти качества облегчаютъ, повидимому, какъ справедливо замѣтилъ рецензентъ, трудъ переводчика въ томъ

отношеніи, что ему не приходится заботиться о передачѣ какихъ-либо своеобразныхъ особенностей языка подлинника, но въ то же время налагаютъ на переводчика большую отвѣтственность, предъявляютъ къ нему строгія требованія. Конечно переводъ г. Поливанова исполненъ добросовѣстно, старательно, безъ нарушенія смысла подлинника и съ соблюденіемъ его размѣра, но онъ не передаетъ вполнѣ языка Расина и мелодичности его стиха. Врядъ ли русскій читатель «Федры» въ переводѣ г. Поливанова повторитъ вмѣстѣ съ Эмилемъ Фагэ, что при чтеніи данной трагедіи «ни разу не остановишься надъ несообразностью, неясностью или слабостью выраженія, небрежностью или неблагозвучіемъ», а подобными качествами долженъ былъ бы отличаться вполнѣ безупречный, художественный переводъ Расина. Г. Батюшковъ приводитъ изъ перевода г. Поливанова стихи довольно заурядные, безцвѣтные, иногда напоминающіе языкъ переводовъ XVIII и начала XIX столѣтій, но такіе стихи, правда, попадаются довольно рѣдко, и, конечно, безъ нихъ можно было бы обойтись. Рецензентъ указываетъ также встрѣчающуюся мѣстами нѣкоторую небрежность слога, искусственную перестановку словъ и неправильную конструкцію, чѣмъ затемняются мысли подлинника.

Вообще, замѣчаетъ г. Батюшковъ, и въ самомъ языкѣ Расина заключается весьма тонкая и глубоко-правдивая психологія, такъ что даже съ виду незначительныя отступленія отъ подлинника въ переводѣ могутъ привести къ нарушенію вѣрно выраженной, жизненной правды. Г. Поливановъ не избѣжалъ такихъ отступленій, и въ доказательство этого рецензентъ указываетъ на сцену Федры съ Эноной, когда послѣдняя допрашиваетъ свою госпожу объ ея тайномъ недугѣ, заставляющемъ ее искать смерти, и почти насильно вырываетъ у нея признаніе въ роковой преступной страсти къ пасынку, и Федра, хотя и высказывается, но стыдится своего чувства и потому избѣгаетъ прямыхъ отвѣтовъ; она какъ бы страшится называть вещи ихъ именами и прибѣгаетъ къ описательнымъ оборотамъ. Г. же По-

ливановъ описательному обороту отвѣта придавъ слишкомъ грубо откровенную форму. Далѣе, когда Федра дѣйствительно говорить, что она любитъ, но не рѣшается назвать по имени предметъ своей страсти и опять ищетъ обхода, начинаетъ изда-лека и придаетъ своему признанію форму вопроса, — что необходимо слѣдовало бы удержать, — г. Поливановъ пренебрегъ указаннымъ соображеніемъ и заставилъ Федру отвѣтить — на вопросъ Эноны: кто ею любимъ? — прямо и рѣшительно. Но такое откровенное признаніе не соотвѣтствуетъ ни характеру, ни настроенію Федры. Такія подробности врядъ ли могутъ быть названы мелочными, такъ какъ онѣ представляются какъ бы бликами на картинѣ, написанными съ натуры рукою мастера, который знаетъ имъ мѣсто, въ переводѣ же онѣ оказываются сглаженными или перестановленными, такъ что картина теряетъ рельефъ и тускнѣетъ.

Рецензентъ, указавъ на найденныя имъ въ переводѣ перестановки фразъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ приводитъ къ нарушенію психологически вѣрной послѣдовательности мысли, заключаетъ свой разборъ слѣдующими словами: «Хотя г. Поливанову не удалось сообщить своему переводу трагедіи Расина всѣ тѣ качества языка, которыми отличается подлинникъ, немало-важною заслугою его представляется попытка приблизиться къ простотѣ и естественности выраженій, при соблюденіи размѣра подлинника и довольно близкой передачѣ содержанія. Въ этомъ отношеніи переводъ г. Поливанова имѣетъ безспорныя преимущества предъ всѣми прежними переводами на русскій языкъ данной трагедіи Расина. Въ общемъ языкъ г. Поливанова правильный, литературный, слогъ безъ особой напыщенности, столь несвойственной Расину, вопреки утвердившемуся у насъ мнѣнію, и хотя, конечно, стихи г. Поливанова не могутъ соперничать съ мелодичными «точеными» стихами Расина, хотя оригинальный текстъ нѣсколько обезцвѣченъ въ передачѣ, не всѣ выраженія безупречны, тѣмъ не менѣе переводъ не лишенъ и многихъ достоинствъ». Въ виду вышесказаннаго г. Батюш-



ковъ считалъ переводъ г. Поливанова заслуживающимъ Пушкинской поощрительной преміи.

---

Въ заключеніе Отдѣленіе считаетъ долгомъ выразить здѣсь глубокую благодарность ученымъ и литераторамъ, которые съ полною, какъ всегда, готовностію согласились раздѣлить его труды по разсмотрѣнію представленныхъ на Пушкинскій конкурсъ сочиненій. Въ изъясненіе этой искренней признательности Отдѣленіе присудило золотыя Пушкинскія медали: экстраординарному академику III-го Отдѣленія Императорской Академіи Наукъ П. В. Никитину; члену-корреспонденту Отдѣленія, профессору Императорскаго Новороссійскаго университета А. И. Кирпичникову; дѣйствительному статскому совѣтнику К. К. Арсеньеву; Вл. С. Соловьеву; приватъ-доценту Императорскаго Санктпетербургскаго университета Ѳ. Д. Батюшкову и бібліотекарю Императорской Публичной Библіотеки И. М. Болдакову.

---

## I.

**Разборъ перевода П. И. Вейнберга трагедіи Шиллера: «Марія Стюартъ»,**

составленный членомъ - корреспондентомъ Императорской Академіи  
Наукъ, проф. А. П. Кирпичниковымъ.

---

Трагедія Шиллера «Марія Стюартъ» не принадлежитъ къ числу характернѣйшихъ произведеній классическаго періода нѣмецкой словесности: не говоря уже о юношескихъ произведеніяхъ Шиллера: «Разбойникахъ» и «Донъ-Карлосъ», поэтъ не отдалъ ей и пятой доли того напряженія творчества, какое положилъ на «Валленштейна», непосредственно ей предшествовавшаго, и не вложилъ въ нее столько собственной души и сердца, какъ въ «Орлеанскую Дѣву», которая непосредственно за ней слѣдовала. Тѣмъ не менѣе исторія возникновенія этого произведенія и довольно продолжительна и не лишена поучительности.

Въ раннемъ дѣтствѣ, проживая въ Лорхѣ, Шиллеръ зналъ только одну историческую книгу — Библію; въ латинской школѣ Людвигсбурга, гдѣ Шиллеръ учился отъ 1768 до 1772 г., почти единственнымъ предметомъ преподаванія была латынь, и сюжеты, надъ которыми могъ задумываться будущій великій драматургъ, были или изъ древняго міра или изъ той же Библіи. Въ «Военной Академіи» Карла Евгенія преподаваніе исторіи

было сперва поручено ректору людвигсбургской школы Яну, но скоро (въ 1772 г.) оно перешло въ руки молодого учителя Іог. Готтлиба Шотта, который, по словамъ вѣнскаго профессора Минора, автора лучшей монографіи о Шиллерѣ<sup>1)</sup>, смотрѣлъ на исторію съ чисто человѣческой точки зрѣнія и «патетическимъ разсказомъ о несчастной судьбѣ юнаго Конрадина или *Маріи Стюартъ* старался извлекать слезы изъ глазъ слушателей»<sup>2)</sup>. Шиллеръ не выдвигался среди учениковъ Шотта, такъ какъ вообще во время своего пребыванія въ педагогической теплицѣ герцога Вюртенбергскаго, по разнообразнымъ причинамъ, учился только «посредственно»; но нѣтъ сомнѣнія, что краснорѣчивый, нѣсколько театралный разсказъ (etwas theatralisch gefärbter Vortrag l. c.) Шотта глубоко запалъ въ его впечатлительную душу; а такъ какъ Шиллеръ съ первыхъ посѣщеній людвигсбургскаго театра, куда его довольно часто бралъ отецъ его, имѣвшій въ качествѣ капитана вюртенбергской службы туда свободный входъ, мечтаетъ о сочиненіи театралныхъ пьесъ<sup>3)</sup>, весьма возможно, что онъ тогда же, подъ вліяніемъ лекціи Шотта, думалъ о судьбѣ казненной шотландской королевы, какъ о прекрасномъ сюжетѣ для трагедіи. Но это только предположеніе, если не особенно смѣлое, за то и не плодотворное; если и были у мальчика Шиллера такія мысли, на этотъ разъ изъ нихъ ничего не вышло.

Проходитъ нѣсколько лѣтъ; Шиллеръ, уже авторъ «Разбойниковъ» и «Фіеско», полный вѣры въ свои силы, несмотря на нѣкоторыя разочарованія и стѣсненное матеріальное положеніе, ищетъ сюжета для новой драмы и останавливается на *Маріи Стюартъ*. 9 декабря 1782 г. онъ пишетъ изъ Бауэрбаха, гдѣ фонъ Вольцогенъ предоставила ему покойное убѣжище, своему покровителю мейнингенскому бібліотекарю Рейнгольду: «При-

---

1) 1-й томъ вышелъ въ 1890 г.: Schiller, sein Leben und seine Werke dargestellt v. J. Minor. Berl. Теперь ожидается 3-й томъ.

2) l. c. стр. 112.

3) Minor o. c. стр. 60.



шлите мнѣ историческихъ книгъ для моеѣ *Маріи Стюартъ*; Камбденъ<sup>1)</sup> прекрасная книга, но было бы хорошо, еслибъ я имѣлъ возможно большее число пособій». Въ концѣ февраля 1783 г. онъ условливается съ лейпцигскимъ книгопродавцемъ Вейгандомъ (Weygand) относительно печатанія своей будущей пьесы. Но и на этотъ разъ планъ остался безъ исполненія, такъ какъ поэтъ взялся съ жаромъ за Донъ-Карлоса; если для Стюартъ и было что нибудь набросано Шиллеромъ, эти бумаги пропали безслѣдно.

Проходитъ 16 плодотворныхъ лѣтъ; Шиллеръ—уже прославленный, великій поэтъ, близкій другъ и сотрудникъ Гете; его скитанія и умственные, и физическія, уже окончились, и онъ живетъ спокойно въ Іенѣ, въ кругу возлюбленной семьи, всецѣло отдавшись творчеству; но, какъ будто чувствуя, что ему не долго жить, онъ усиленно спѣшитъ работать и немедленно, безъ отдыха, переходитъ отъ одного обширнаго труда къ другому. Окончивъ въ началѣ 1799 г. «Смерть Валленштейна», онъ сейчасъ-же ищетъ сюжета для новой драмы. Теперь онъ думаетъ остановиться на чемъ нибудь вымышленномъ; 19 марта онъ пишетъ Гёте: «Я пресытился солдатами, героями и властителями». Нѣкоторое время онъ обдумываетъ планъ «Мессинской невѣсты», но уже въ апрѣлѣ онъ окончательно рѣшился остановиться на *Маріи Стюартъ* и сейчасъ же принялся за подготовительныя работы: онъ перечиталъ знакомыя ему статьи и книги и просмотрѣлъ много новыхъ<sup>2)</sup>. Съ такой же изумительной энергіей идетъ и самый процессъ творчества: въ іюнѣ совѣмъ готовъ планъ и набросанъ скелетъ пьесы, а 24 іюля уже написанъ весь первый актъ и начатъ второй; 9 августа Шиллеръ пишетъ Кёрнеру, что важнѣйшая треть работы уже сдѣлана; дѣйствительно,

---

1) Cambden: Annales rerum Anglicarum et Hibernicarum regnante Elizabetha 1615.

2) Подробную исторію работы Шиллера надъ Маріей Стюартъ см. у Дюнтцера: Heinrich Düntzer: Erläuterungen zu den deutschen Klassikern, 48. 49 Bändchen. 4-te Aufl. Lpz. 1892, стр. 1—50.

26 августа окончень 2-ой актъ и приступлено къ обработкѣ 3-ьяго; еслибы такъ пошло дѣло далѣе, Шиллеръ исполнилъ бы свое первоначальное намѣреніе: совсѣмъ закончить пьесу къ концу зимы. Но теперь начались разнообразныя задержки и препятствія: другія работы (*Musenalmnach* и пр.), рожденіе дочери, болѣзнь жены, переѣздъ въ Веймаръ, наконецъ серьезная собственная болѣзнь. Все же 9 іюня 1800 г. трагедія совсѣмъ окончена, и черезъ 5 дней поставлена въ первый разъ на сцену. Пьеса, какъ извѣстно, имѣла успѣхъ, но не совсѣмъ въ томъ объемѣ, какъ мечталъ авторъ, а англійскій переводъ, о возможно скорѣйшемъ появленіи котораго такъ хлопоталъ Шиллеръ, совсѣмъ потерпѣлъ неудачу.

Для пониманія задачи пьесы, мы считаемъ очень важнымъ вопросъ, почему Шиллеръ такъ легко разстался съ этимъ сюжетомъ въ 1783 г. и почему онъ, несмотря на свое пресыщеніе героями и властителями, съ такой энергіей взялся за него теперь? обстоятельный отвѣтъ на него можетъ дать матеріалъ для цѣлой монографіи; здѣсь же мы считаемъ не лишнимъ только намѣтить тотъ путь, которымъ, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ идти къ его рѣшенію.

Доказывать, что великія политическія событія послѣднихъ годовъ прошлаго вѣка имѣли сильное вліяніе на міровоззрѣніе даже и такого ненавистника политики, какъ Гёте, было бы по малой мѣрѣ наивно. Шиллеръ былъ живѣе и впечатлительнѣй своего великаго друга, и тотъ изслѣдователь его произведеній, который всегда будетъ имѣть въ виду эти событія и имп обуславливать его взгляды, думаемъ мы, погрѣшитъ менѣе, нежели тотъ, кто совсѣмъ забудетъ, что Шиллеръ переживалъ революцію и директорію. Шиллеръ былъ отъ юности горячимъ проповѣдникомъ дѣятельной любви къ человѣчеству, гуманистомъ въ лучшемъ значеніи этого слова и оставался такимъ до конца дней своихъ; но его политическія убѣжденія не могли не измѣняться подъ вліяніемъ переживаемаго. Въ 1783 г. онъ былъ пылкимъ либераломъ и демократомъ, и несчастная судьба шотланд-

ской королевы, возбуждавшая его жалость «по человечеству», не могла воодушевить его настолько, чтобы создать изъ нея трагедію. Жалко, конечно, женщину, которая, нагрѣшивъ въ дни юности по легкомыслію и женской страстности, расплачивается за это 19-лѣтнимъ плѣномъ и, наконецъ, эшафотомъ; интересна эпоха, когда религіозная борьба жестоко волнуетъ народы и служить канвою для сильныхъ страстей властителей; поэтична фигура заключенницы, которая изъ глубины тюрьмы внушаетъ пылкую любовь и колеблетъ троны; трогательна смерть наслѣдницы двухъ коронъ, которая, послѣ всѣхъ грѣховъ своихъ и долгихъ лѣтъ страданія, сумѣла проявить на послѣднемъ судѣ столько ума и силы воли, а передъ плахой—столько геройскаго самообладанія, женскаго изящества и доброты и высокаго чувства. Но Марія Стюартъ, фанатически преданная католицизму, способная къ энергичной борьбѣ только за личное благосостояніе и власть и за династическіе или партійные интересы, Марія Стюартъ, дѣятельность которой была столь опасна для свободы англійскаго народа, что и смертный приговоръ ей и казнь ея были отпразднованы въ Лондонѣ и др. городахъ, какъ національное торжество, не могла быть *героиней* Шиллера въ началѣ 80-хъ годовъ; не могъ онъ вложить въ уста ея свои вольнолюбивыя и высокогуманныя мечты.

Не то было въ послѣдній годъ столѣтія. Событія 1791 — 1794 гг. значительно разочаровали Шиллера въ добросердечіи и разумности народной массы, и онъ уже готовъ сказать устами Салъги въ «Дмитріи»:

Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn!  
Verstand ist stets bei wen'gen nur gewesen.

Онъ разочаровался и въ вожакахъ этой массы и вообще въ «людахъ успѣха»; искусство управлять толпой онъ готовъ отождествить съ отсутствіемъ нравственнаго чувства, по-просту сказать, съ безсовѣстностью, и того, кто, для достиженія личнаго благосостоянія, ссылается на волю народную и «общее благо» — при-  
17\*



знать безчеловѣчнымъ эгоистомъ и лицеѣромъ<sup>1)</sup>. Кто изъ расчета и ненависти отнимаетъ жизнь у своего ближняго, для того нѣтъ никакихъ извиненій; предполагаемое общее благо — только безчестная маска, и жертва его заслуживаетъ всеобщей симпатіи. Въ борьбѣ двухъ королевъ Елисавета опирается на волю парламента и интересы народа, а на самомъ дѣлѣ, по представленію Шиллера и его пособій, главнымъ образомъ Архенгольца (*Archenholz: Geschichte der Königin Elisabeth v. England* въ *Hist. Kalender für Damen für d. Jahr 1790, 1—189*<sup>2)</sup>), руководствуется личными интересами и злобными чувствами; вотъ отчего въ глазахъ Шиллера почти при началѣ его работы Елисавета — «царственная лицеѣрка» (*königliche Heuchlerin*), съ которой онъ желаетъ сорвать маску величія; ея жертва, Марія Стюартъ — грѣшная, но живая и добрая женщина, возбуждающая симпатію поэта; возвышенныхъ монологовъ говорить она не будетъ; но будетъ жить и страдать, страданіемъ искупить вину свою и умереть, примиривъ зрителя съ собой и возвысивъ его вѣру въ человѣка. Эпоха реформаціонной борьбы, когда фанатизмъ дѣлаетъ увлекающихся людей убійцами изъ-за угла (у Шиллера Мортимеръ), а спокойныхъ и разумныхъ — безжалостными притѣснителями (Бёрлей), сильно напоминаетъ ему борьбу революціонную, въ такой же степени озлобляющую и отдѣльные лица и цѣлые народы. Но идеалистъ Шиллеръ увѣренъ, что это бѣдствіе скоропреходяще, что и въ массѣ добрые инстинкты должны взять верхъ надъ злыми, и устами Шресберн, представителя общественной совѣсти (IV дѣйствіе, явленіе 9), убѣждаетъ Елисавету не рассчитывать на продолжительность народной злобы и мститель-

---

1) Какъ извѣстно, графъ Левъ Толстой идетъ въ этомъ направленіи гораздо дальше Шиллера; въ «Войнѣ и Мирѣ» (V, 110—111 по изд. 1868—9 г.) онъ говоритъ: «Съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ міръ и люди убиваютъ другъ друга, никогда ни одинъ человѣкъ не совершилъ преступленія надъ себѣ подобнымъ, не успокоивая себя мыслію о *bien public*, предполагаемомъ благѣ другихъ людей».

2) См. выписки у Duntzer'a l. c.; къ другимъ пособіямъ Шиллеръ обращался за подробностями и «мѣстнымъ колоритомъ».

ности; пройдетъ возбужденіе, и тираны всѣхъ родовъ и видовъ будутъ внушать только отвращеніе.

Таковы, по нашему мнѣнію, внутреннія основанія (внѣшнее указаль предположительно Дюнцеръ I. с., стр. 2), по которымъ эта историческая тема, покинутая Шиллеромъ въ 1783 г., показалась ему особенно привлекательной въ 1799 г. и поглотила почти полтора года его жизни. Перерабатывая ее въ драму, Шиллеръ съ одной стороны воспроизвелъ многія мелкія черты, найденныя имъ въ источникахъ и пособіяхъ, а съ другой предоставилъ свободный ходъ своему творчеству: создалъ рядъ мотивовъ, лицъ и сценъ, небывалыхъ въ дѣйствительности (въ томъ числѣ и центральную сцену—свиданія королевъ), сконцентрировалъ къ 3-мъ днямъ событія, отстоявшія другъ отъ друга на нѣсколько лѣтъ (сватовство французскаго принца за Елисавету происходило за 7 лѣтъ) или мѣсяцевъ (между объявленіемъ Маріи приговора и казнью прошло около 3-хъ мѣсяцевъ) и 45-лѣтнюю полусѣдую, отяжелѣвшую отъ долгаго заключенія горююю обратилъ въ цвѣтущую 25-лѣтнюю красавицу, способную рѣзвиться, какъ ребенокъ; характеръ же ея настолько обѣлилъ страданіемъ и раскаяніемъ, что къ концу драмы она напоминаетъ идеально чистыхъ шекспировскихъ героинь<sup>1)</sup>.

Какую идею проводилъ Шиллеръ, пересоздавая такимъ образомъ исторію? Надъ этимъ не мало поработала нѣмецкая критика<sup>2)</sup> и поработала, конечно, съ пользою, такъ какъ всѣ подобныя изслѣдованія, если только они основаны на историко-литературныхъ данныхъ и текстѣ произведенія, способствуютъ его всестороннему уясненію, *хотя бы даже они и противорѣчили другъ другу*: въ каждомъ образѣ, созданномъ истиннымъ художникомъ,

1) Да и всю пьесу можно разсматривать, какъ развитіе самоопредѣленія героини: *Ich bin besser, als mein Ruf* (III, 4 явл.).

2) Интересное, но не вполне объективное изложеніе выдающихся мнѣній и оригинальное собственное объясненіе см. въ книжкѣ: Wilh. Fielitz, *Studien zu Schillers Dramen*. Lpz. 1876, стр. 44—71. Ср. также у Дюнцера гл. III. *Gestaltung des Stoffes u. Ausführung* (стр. 86 и слѣд.).

заключается въ зародышѣ множество наблюденій и обобщеній, которыя съ полной опредѣленностью часто могутъ раскрыться только послѣдующимъ поколѣніямъ. Но пререканія комментаторовъ о томъ, что основная задача произведенія выражена именно въ такихъ, а не иныхъ стихахъ, что пьеса проводитъ именно такуюто, а не иную идею, едва-ли могутъ считаться полезными. По нашему мнѣнію, всякое истинно художественное произведеніе большаго объема систематически проводитъ прежде всего одну идею—*идею красоты* и преслѣдуетъ прежде всего одну задачу—*воспроизвести жизнь, освѣтивъ ее свѣтомъ добра и правды*. Эту же общую задачу рѣшаетъ и Шиллеръ въ «Маріи Стюартъ», и его трагедія является не *трагедіей судьбы* (W. Fielitz I. с. 56), не *религіозной* (Юл. Шмидтъ см. Düntzer I. с., стр. 104) и не *политической* (ib. 106), а *этической* драмой, какъ и всякое другое истинно художественное поэтическое произведеніе этого рода, какъ «Борисъ Годуновъ» Пушкина, напримѣръ. Между этими двумя произведеніями много общаго не вслѣдствіе вліянія Шиллера на Пушкина, а вслѣдствіе единства задачи и формы: и тамъ и здѣсь за предѣлами пьесы совершенно преступленіе, и тамъ и здѣсь изображается нравственная казнь преступника; и все, что задумано во благо ему, обращается ему же во вредъ; и тамъ и здѣсь передъ зрителемъ два несходныхъ, во многихъ отношеніяхъ противоположныхъ человѣка, борьба которыхъ составляетъ историческій фактъ<sup>1)</sup>; и тамъ и здѣсь побѣдитель, являющійся орудіемъ высшей справедливости, перейдя мѣру ея, самъ становится преступникомъ, и ему за предѣлами пьесы предстоитъ неизбежная, вполне ясная для зрителя казнь. (Знаменитая ремарка Пушкина: «Народъ безмолствуетъ» соответствуетъ той

---

1) Эту вполне естественную систему парныхъ противоположностей легко прослѣдить и на второстепенныхъ лицахъ обѣихъ трагедій: у Шиллера—гуманный Шресбери и безжалостный политикъ Бёрлей, расчетливый, холодный Лейчестеръ и до полубезумія увлекающійся Мортимеръ; у Пушкина: патріархъ и юродивый, Ксенія и Марина Мнишекъ, Воротынский и Шуйскій.



пустотѣ, которая образовалась вокругъ Елисаветы въ самый моментъ ея торжества).

Сходно отношеніе обоихъ поэтовъ къ исторической темѣ: оба они принимаютъ за фактъ недоказанное преступленіе своихъ героевъ и оба смягчаютъ вину ихъ мученіями совѣсти и проявленіями доброты и гуманности; оба пополняютъ дѣйствительность творчествомъ, чтобы придать полную реальность и рельефность характерамъ историческихъ лицъ; оба они воспроизводятъ эпоху черезъ созданіе типичныхъ и живыхъ фигуръ; оба они, позволяя себѣ проявлять симпатію и антипатію къ отдѣльнымъ личностямъ, безусловно объективны по отношенію къ цѣлымъ партіямъ<sup>1)</sup>: кто любитъ человѣка, не можетъ унижить міровоззрѣніе массы; въ его глазахъ, то, во что люди вѣрують, что любятъ они, не можетъ не заключать въ себѣ частицы добра и правды.

Отношеніе сходно, но не тождественно. Пушкинъ, создававшій свою трагедію въ эпоху господства романтической критики, болѣе заботится о *мѣстномъ колоритѣ* (Localfarbe), чѣмъ авторъ «Маріи Стюартъ»<sup>2)</sup> и не позволяетъ себѣ въ такой степени измѣнять историческіе факты. Въ трехъ драмахъ Шиллера, непосредственно слѣдовавшихъ другъ за другомъ: «Валленштейнъ», «Марія Стюартъ» и «Орлеанская Дѣва», нельзя не замѣтить постепенное уклоненіе поэта отъ точности въ воспроизведеніи историческихъ фактовъ.

Въ письмѣ отъ 8 мая 1799 г. Шиллеръ самъ опредѣляетъ значеніе «Валленштейна» для пьесы, надъ которой онъ въ то время работаетъ, т. е. для «Маріи Стюартъ»: на огромномъ и сложномъ сюжетѣ «Валленштейна» онъ выработалъ себѣ технику (das Handwerk gelernt habe) и теперь будетъ работать быстрее.

1) Нельзя не согласится съ Дюнцеромъ (I. с. 104), что Юліанъ Шмидтъ проявилъ собственную протестантскую нетерпимость, обвиняя Шиллера за «Марію Стюартъ» въ пристрастіи къ католикамъ.

2) Но и Шиллера было бы несправедливо обвинять въ полномъ равнодушіи къ нему: независимый духъ англичанъ рельефно выраженъ въ Паулетѣ и Шрессбери, ихъ суровая дѣловитость въ Бёрлеѣ и т. д.

Технику онъ, дѣйствительно, себѣ выработалъ, но отразилось это, къ счастію, не столько на скорости работы, сколько на совершенствѣ ея. Нельзя не согласиться съ Дюнцеромъ<sup>1)</sup>, что характеры въ «Маріи Стюартъ» закруглениѣ и жизнениѣ, нежели въ «Валленштейнѣ»<sup>2)</sup>. Усовершенствованіе техники еще нагляднѣй отразилось на языкѣ пьесы, который своею простотой, опредѣленностью и драматической живостью значительно превосходитъ языкъ трилогіи. Въ общемъ, отъ перваго стиха до послѣдняго это характерный языкъ Шиллера, характерный своимъ искреннимъ пафосомъ и, если можно такъ выразиться, задушевымъ благородствомъ; но въ этихъ неизбежныхъ предѣлахъ каждое дѣйствующее лицо говоритъ сообразно своему характеру и настроенію: не только холодный, сдержанный, часто двусмысленный, почти змѣиный языкъ Елисаветы рѣзко отличается отъ искренняго, то грустнаго, то исполненнаго оскорбленнаго достоинства и только въ концѣ «свиданія королевъ» язвительно-побѣдоноснаго тона Маріи; не только рѣчь Мортимера выдѣляется изъ всѣхъ своею страстностью, а въ 6-мъ явленіи III-го дѣйствія — полубезумнымъ, патологическимъ возбужденіемъ, но и энергичная, суровая рѣчь Бёрлея характерно отличается отъ ворчливаго, иногда грубаго, но въ сущности добродушнаго спо-

---

1) I. с. 112.

2) Но едва ли можно признать вмѣстѣ съ нимъ, что характеръ Лейчестера не удался (ib. 113). По нашему мнѣнію, почтеннаго комментатора нѣмецкихъ классиковъ смущаетъ противорѣчіе между Лейчестеромъ историческимъ и Лейчестеромъ Шиллера. Но если мы совершенно отрѣшимся отъ перваго, второй окажется однимъ изъ самыхъ тонкихъ драматическихъ типовъ. Онъ самый умный и ловкій человекъ изъ окружающихъ Елисавету; онъ равнодушенъ къ идеямъ, но превосходно понимаетъ людей и умѣетъ пользоваться ихъ слабостями. Онъ живетъ, какъ и Елисавета, не чувствомъ, а исключительно расчетомъ; оттого онъ такъ близко и сошелся съ ней. Но онъ воспитывался не въ такой суровой школѣ, какъ Елисавета, и къ тому же мужчина никогда не можетъ дойти до той степени безсердечія, до какой доходитъ женщина, если она отрѣшится отъ свойственной ей впечатлительности и мягкости. Оттого онъ иногда и именно въ то время, когда ему, какъ говорится, не везетъ, можетъ отдаться чувству, что и ставить себѣ въ великую заслугу. Но именно тогда-то такіе люди и оказываются «между двухъ стульевъ», въ самомъ жалкомъ положеніи, которое, однако, мало возбуждаетъ сочувствія.

соба выраженія сэра Паулета и отъ ловкой, гибкой, какъ шпага, рѣчи Лейчестера. Только одинъ Шрёсберіи говоритъ такъ, какъ говорилъ бы на его мѣстѣ самъ поэтъ; но и въ его тонѣ можно подмѣтить «типичный» оттѣнокъ старческаго спокойствія.

Стихъ въ «Маріи Стюартъ» свободнѣе, чѣмъ въ «Донъ-Карлосъ» и «Валленштейнъ»<sup>1)</sup>, но эта свобода не есть слѣдствіе произвола и недостатка отдѣлки, а именно бѣльшаго совершенства техники: кто не согласится, что укороченные стихи на концѣ длинныхъ рѣчей представляютъ большую выгоду и для актера и для зрителя?

Слѣдуя примѣру Шекспира, Шиллеръ еще въ «Валленштейнѣ» началъ вставлять рѣзанные стихи среди бѣлыхъ. Въ «Маріи Стюартъ» онъ прибѣгаетъ къ этому исполнѣ художественному средству поднимать тонъ значительно чаще и рѣже, большею частію съ промежутками<sup>2)</sup>, цѣлые монологи, произносимые въ состояніи сильнаго душевнаго возбужденія; выраженія чувствъ героини въ 1-мъ явленіи III-го дѣйствія—почти такое же высокопоэтическое созданіе, какъ знаменитый монологъ Орлеанской Дѣвы: «Ахъ, почто за мечъ воинственный»....

Для переводчика «Марія Стюартъ» представляетъ задачу привлекательную, но очень нелегкую, именно вслѣдствіе разнообразія тона и стиха; талантливый и опытный переводчикъ можетъ показать на возсозданіи ея всю свою силу, но онъ долженъ много поработать надъ пьесой, чтобы красиво и вѣрно передать оттѣнки ея діалоговъ и лирическихъ монологовъ.

Въ общемъ переводъ трагедіи Шиллера, представленный П. И. Вейнбергомъ на соисканіе преміи имени А. С. Пушкина, исполнѣ достоинъ и великаго произведенія и почетной извѣстности опытнаго и талантливаго переводчика. Переводъ этотъ, правда, не принадлежитъ къ крайне ограниченному во всѣхъ литературахъ числу тѣхъ классически-прекрасныхъ переводовъ, которые каждой поэтической фразой передаютъ всю силу и кра-

1) Подробности см. у Дюнцера I. с. стр. 113—114.

2) Перечисленіе всѣхъ случаевъ см. у Дюнцера I. с. 116.



соту соотвѣтствующей фразы подлинника; къ созданію такихъ переводовъ способны или первоклассные самостоятельные поэты или такіе талантливые литераторы, которые имѣютъ досугъ посвятить десятки лѣтъ на изученіе и воссозданіе одного классическаго произведенія. Г. Вейнбергъ, безъ сомнѣнія, литераторъ, превосходно подготовленный и талантливый, но такого досуга, сколько намъ извѣстно, онъ не имѣетъ, и ему представлялись два пути, вовсе не одинакіе по своей цѣлесообразности: или передавать вѣрно смыслъ, содержаніе и тонъ каждаго отдѣльнаго монолога и реплики, или воспроизводить каждый образъ, каждую фразу стихотворнаго оригинала, не жалѣя при этомъ лишнѣхъ словъ и даже стиховъ. Онъ избралъ второй путь, по нашему убѣжденію, единственно достойный такихъ поэтовъ, какъ Шекспиръ, Гете и Шиллеръ. А такъ какъ способъ выраженія переводчика, естественно, оказывается слабѣе, чѣмъ въ оригиналѣ, г. Вейнбергъ часто нуждается въ двойномъ числѣ стиховъ, чтобы выразить все то, что находитъ онъ у Шиллера <sup>1)</sup>, и потому *при подстрочномъ сличеніи* переводъ кажется какъ будто водянистымъ, разбавленнымъ. Но переводы дѣлаются не для подстрочнаго сличенія, а для чтенія тѣхъ, кому не вполне доступенъ оригиналъ; забудемъ на время его, и эти 200—300 лишнѣхъ стиховъ безъ вреда для произведенія органически сольются съ остальными, и общій тонъ благороднаго, дѣлственно-чистаго и философски вдумчиваго, но не свободнаго отъ нѣкоторой риторичности міровоззрѣнія и соотвѣтствующаго ему способа выраженія Шиллера оказывается прекрасно выдержаннымъ. Средства, которыми переводчикъ достигъ этого, просты и вполне цѣлесообразны. Отлично зная нѣмецкій языкъ, г. Вейнбергъ добросовѣстно изучилъ текстъ и не пренебрегъ даже и коммен-

---

1) Такъ напр. на стр. 161 (II дѣйств. 4-ое явл.) два стиха Тальбота: Wenn die Monarchin sie beglücken will, Wollt Ihr der Gnade sanfte Regung hindern? переданы четырьмя стихами. На стр. 172 (III, 3) шесть стиховъ рѣчи того же Шпресбери (Gebietet Eurem wild empörten Blut и пр.) переданы восемью стихами съ половиной. На стр. 173 (III, 4) три стиха Лейчестера (Es ist geschehen,

таріями<sup>1)</sup>, а за тѣмъ усердно поработалъ надъ переводомъ, при чемъ огромную пользу оказалъ ему его значительный стихотворный талантъ, развитый многолѣтнимъ упражненіемъ: онъ вполнѣ овладѣлъ техникой свободного ямба Шиллера<sup>2)</sup>, старательно, но безъ замѣтныхъ для читателя усилій замѣнялъ его другими размѣрами, гдѣ таковыя оказывались въ оригиналѣ, и съ замѣчательной настойчивостью и виртуозностью вводилъ звучныя приемы во всѣхъ соотвѣствующихъ мѣстахъ.

Чтобы показать, насколько внимательно и умѣло воспроизвелъ г. Вейнбергъ детали оригинала, особенно трудныя для перевода, намъ достаточно привести два важныхъ мѣста съ такъ называемою непереводаемою игрою словъ. Въ I дѣйствіи (2 явленіе) Марія Стюартъ говоритъ своей кормилицѣ Кеннеди:

Beruhige dich, Hanna. Diese Flitter machen  
Die Königin nicht aus. Man kann uns *niedrig*  
*Behandeln, nicht erniedrigen.*

Königin и пр.) переданы четырьмя съ половиною стихами и т. д. и т. д. Иногда, чтобы сообщить соотвѣтствующую силу рѣчи извѣстнаго лица, переводчикъ принужденъ пополнять ее образами и фразами собственнаго измысленія (такъ напр. въ той же знаменитой сценѣ королевъ, въ гнѣвный монологъ Маріи, начинающійся словами: «Ich habe menschlich, jugendlich gefehlt», г. Вейнбергъ вставляетъ стихъ: «И вамъ и всѣмъ я смѣло говорю» и ниже сравненіе: «солживостью змѣи», см. стр. 175), но такъ какъ его измысленія удачны и въ духѣ оригинала, читатель не имѣетъ права быть недовольнымъ этими вставками.

1) Ясное доказательство этого мы видимъ между прочимъ въ началѣ той же сцены королевъ, гдѣ вульгата до сихъ поръ сохраняетъ явную описку въ ремаркѣ автора: Talbot entfernt das Gefolge. Sie (Елисавета) fixiert mit den Augen die Maria, indem Sie zu Paulet weiter spricht. Здѣсь zu Paulet стоитъ вмѣсто zu Leicester, какъ это и исправлено самимъ Шиллеромъ въ переработкѣ для театра (H. Düntzer: Erläuterungen zu den deutschen Klassikern. 48. 49 Bändchen. S's Maria Stuart 4-te Aufl. Lpz. 1892, стр. 186 прим.). Г. Вейнбергъ переводитъ (стр. 173): «продолжаетъ говорить Лейчестеру».

2) Я могу отмѣтить только одинъ неправильный стихъ на стр. 141 (5-й отъ начала 1-го столбца): «Мучительно тянувшійся мѣсяцъ». Можно еще, пожалуй, замѣтить, что въ послѣднихъ стихахъ 1-го явленія III дѣйствія переводчикъ допускаетъ метрическія вольности, на которыя не давалъ ему права оригиналъ.

Г. Вейнбергъ переводить:

— Утѣшься. Анна!

Монаршій санъ не этой мишурой  
Дается намъ, и если можно *низко*  
Со мною *обращаться*, то *унизить*  
Меня нельзя.

Еще важнѣе тотъ рѣзкій и грязный сарказмъ, которымъ королева Елисавета окончательно выводитъ изъ себя несчастную Марію:

Fürwahr! Der Ruhm war wohlfeil zu erlangen,  
Es kostet nichts, *die allgemeine Schönheit*  
Zu sein, als *die gemeine* sein für alle!

Г. Вейнбергъ переводить и просто и точно (стр. 175):

Ну, приобрѣсть такую славу можно  
Недорого: *всесвѣтной красотой*  
Прослыть легко тому, кто *достоянье*  
*Всесвѣтное*.

Мы были бы принуждены выписать по крайней мѣрѣ треть пьесы, если бы вздумали перечислять всѣ мѣста, гдѣ проявляется рѣдкій тактъ переводчика и его способность передавать и общій тонъ и мелкія частности оригинала. Чтобы не удлинять безъ особой нужды нашего отзыва, мы ограничимся только указаніемъ на прекрасно выдержанный тонъ злобнаго презрѣнія въ рѣчахъ Елисаветы (въ сценѣ королевѣ), который, кажется, и ангела могъ бы вывести изъ терпѣнія, и на тонкую и вѣрную передачу двусмысленныхъ рѣчей Елисаветы къ Девисону (IV-ое дѣйствіе, явленіе II-ое), которыя для перевода труднѣй всякихъ каламбуровъ (у г. Вейнберга, стр. 190—191). А чтобы дать образчикъ слога и стиха г. Вейнберга и вмѣстѣ съ тѣмъ близости его перевода къ оригиналу въ особенно трудныхъ лирическихъ мѣ-

стахъ, мы выпишемъ начало 1-го явленія III-го дѣйствія параллельно съ оригиналомъ.

Марія *быстро выбѣгаетъ* Maria tritt in schnellem  
изъ-за деревьевъ, Анна Кеннеди Lauf hinter Bäumen hervor.  
*медленно слѣдуетъ за нею.* Hanna Kennedy folgt langsam.

Кеннеди.

Kennedy.

Постойте-же! Вымчитесь, точно Ihr eilet ja, als wenn Ihr Flü-  
крылья gel hättet,  
У васъ нашлись... За вами не So kann ich Euch nicht folgen,  
поспѣть! wartet doch!

Марія.

Maria.

Дай насладиться мнѣ новою во- Lass mich der neuen Freiheit  
лей, geniessen,  
Дай быть ребенкомъ — и будь Lass mich ein Kind sein, sei es  
имъ со мной; mit,  
Дай на ковръ разноцвѣтнаго Und auf dem grünen Teppich  
поля der Wiesen  
Бѣгъ мой испробовать легкій, Prüfen den leichten, geflügelten  
живой. Schritt.  
Да неужли же раскрылась те- Bin ich dem finstern Gefängnis  
мница? entstiegen?  
Вырвалась я изъ могилы своей? Hält sie mich nicht mehr, die  
traurige Gruft?  
Дай же мнѣ жадно, полнѣй и Lass mich in vollen, in durstigen  
полнѣй, Zügen  
Воздухомъ чуднымъ, свобод- Trinken die freie, die himmli-  
нымъ уииться! sche Luft.

Кеннеди.

Kennedy.

Ахъ, леди дорогая, это только O meine teure Lady! Euer Ker-  
ker



Расширили	немного	вамъ	Ist nur um ein klein wenig
тюрьму,			erweitert.
И стѣнъ ея	вы	оттого здѣсь	Ihr seht nur nicht die Mauer,
только			die uns einschliesst,
Не видите, что	закрываютъ ихъ		Weil sie der Bäume dicht Ge-
			sträuch versteckt.
Отъ вашихъ	глазъ	деревъ гу-	
стыя вѣтви.			

Марія.

Maria.

Благодарю, благодарю, что ты,	O Dank, Dank diesen freundlich
	grünen Bäumen,
О, зелень милая, тюрьму мою	Die meines Kerkers Mauern
закрыла!	mir verstecken!
Свободу, счастье вновь мнѣ	Ich will mich frei und glücklich
греза возвратила.	träumen,
Зачѣмъ будить меня отъ сла-	Warum aus meinem süßen Wahn
достной мечты?	mich wecken?
Раскинуть надо мной съ своимъ	Umfährt mich nicht der weite
просторомъ	Himmelsschoss?
Небесный сводъ; свободнымъ	Die Blicke, frei und fessellos,
взоромъ	
Даль необъятную могу окинуть	Ergehen sich in ungemessnen
я. . . .	Räumen.
Тамъ, гдѣ встаетъ, одѣтая ту-	Dort, wo die grauen Nebelberge
маномъ,	ragen,
Цѣнь горъ сѣдыхъ — мое ужъ	Fängt meines Reiches Grenze an,
царство тамъ;	
И тучки тѣ, что мчатся къ	Und diese Wolken, die nach
южнымъ странамъ,	Mittag jagen,
Вѣдь ищутъ путь къ француз-	Sie suchen Frankreichs fernen
скимъ берегамъ!	Ozean.
Быстрыя тучки, воздушнаго	Elende Wolken, Segler der
моря пловцы!	Lüfte!

Кто съ вами странствовалъ въ Wer mit euch wanderte, mit  
дальніе свѣта концы? euch schiffte?

Въ край, гдѣ цвѣла моя юность, Grüßet mir freundlich mein  
снесите поклонъ мой сердеч- Jugendland! и т. д.  
ный! и т. д.

Но нельзя ожидать, чтобы въ переводѣ большой 5-актной драмы, заключающей въ себѣ около 7000 стиховъ, при вышеуказанномъ условіи (невозможности держать его десятки лѣтъ въ портфель), не встрѣтилось недосмотровъ и промаховъ, и мы считаемъ своимъ долгомъ перечислить всѣ нами замѣченныя неточности и lapsus calami, хотя бы и самые незначительные, не столько въ упрекъ переводчику, сколько въ увѣренности, что русской публикѣ понадобится не одно изданіе хорошаго перевода «Марія Стюартъ» и въ надеждѣ, что г. Вейнбергъ согласится съ небезполезностью хоть нѣкоторой части нашихъ указаній.

Въ I-мъ дѣйствіи, 1-мъ явленіи (переводъ стр. 138) Кеннеди говоритъ, что Марія Стюартъ привыкла къ роскоши.

Am üpp'gen Hof der Medicäerin, т. е. при французскомъ дворѣ, гдѣ въ то время властвовала Екатерина Медичи, супруга короля Генриха II. Г. Вейнбергъ переводитъ:

И при дворѣ роскошномъ *Медичесовъ*. . . Читатель можетъ подумать, что рѣчь идетъ о флорентійскомъ дворѣ.

Иб. немного ниже Паулетъ говоритъ о предметахъ роскоши:  
Sie wenden nur das Herz dem Eiteln zu. Г. Вейнбергъ переводитъ:

Онѣ<sup>1)</sup> родятъ тщеславье только въ сердцахъ.

Но Паулетъ слишкомъ убѣжденъ въ природномъ тщеславьѣ Маріи, чтобы такъ выразиться. Было бы вѣрнѣе перевести:

Онѣ къ тщеславію обращаютъ сердце.

---

1) Бездѣлки, «что скрашиваютъ жизнь».

Въ самомъ концѣ 2-го явленія (стр. 141) Паулетъ говорить:

Was die Gerechtigkeit gesprochen, *furchtlos*  
Vor aller Welt wird es die Macht vollzieh'n.

Г. Вейнбергъ переводить: —

Что справедливый судъ произнесетъ, то предъ глазами міра  
Исполнить власть.

Слѣдовало бы прибавить: «безъ страха», что вовсе не нарушило бы стиха<sup>1)</sup>.

1-е дѣйствіе 5-ое явленіе (стр. 143). Мортимеръ передаетъ Маріи eine Karte (все ея содержаніе — рекомендація подателя въ 2-хъ строкахъ); г. Вейнбергъ здѣсь и въ началѣ 6-го явленія переводить это словомъ: письмо.

I, 6 (стр. 144) Мортимеръ говорить о себѣ:

In strengen *Pflichten* war ich aufgewachsen

Г. Вейнбергъ переводить:

Я, вскормленный на строгомъ *чувствѣ вѣры*....

Но о его религіозныхъ убѣжденіяхъ рѣчь идетъ въ слѣд. стихѣ; было бы и точнѣе и лучше по-русски: «на строгомъ *чувствѣ дома*». По словамъ Мортимера (ib. переводъ стр. 145), кардиналъ де Гизъ доказалъ ему,

dass der Geist der Wahrheit  
Geruht hat auf *den Satzungen* der Väter.

Г. Вейнбергъ переводить:

— Что на всѣхъ

*Ученіяхъ* святыхъ отцевъ духъ правды

*Покоился.*

---

1) Можетъ быть это опечатка. Въ томъ же явленіи въ словахъ Маріи (стр. 140) «Болѣзнію тревожимаго сердца» явная опечатка; надо читать: *Боязнію* тревожимаго сердца (mein geängstigt fürchhend Herz).

Уже и безъ сличенія съ оригиналомъ прош. вр. примѣнительно къ ученію св. отцевъ неумѣстно. Н. Düntzer<sup>1)</sup> читаетъ здѣсь *Sitzungen* и говорятъ: Körner schrieb wider den Sinn des Dichters, der an Konzile denkt, *Satzungen*. Проф. I. W. Schäfer въ своемъ изданіи Маріи Стюартъ (Stuttg. 1886) читаетъ: *Satzungen*, но объясняетъ (стр. 155) — den Beschlüssen der Kirchenversammlungen. Вм.: *ученіяхъ* было бы вѣрнѣе поставить: рѣшеніяхъ.

Въ той же сценѣ и на той же страницѣ мы встрѣчаемъ явный недосмотръ. Мортимеръ перечисляетъ друзей Маріи въ Реймсѣ:

Den edlen Schotten Morgan fand ich hier,  
Auch Euren treuen Lesslay, den gelehrten  
Bischof von Rosse. . . .

Г. Вейнбергъ переводить:

Тутъ встрѣтилъ  
Я Моргана, достойнаго шотландца,  
И вѣрнаго вамъ Лесли, *и еще*  
Ученаго епископа изъ Россе. . . .

Стало бытъ рѣчь идти о трехъ особахъ; но Лесли и былъ епископомъ Россе; Cambden называетъ его Iohannes Leslaeus, episcopus Rossensis<sup>2)</sup>. Ib. стр. 146 Мортимеръ говоритъ Маріи:

Raubt Euch

Des Kerkers Schmach von Eurem Schönheitsglanze?

Г. Вейнбергъ переводить:

Кто бъ могъ сказать. . . .  
Что ни частицы вашей  
Чудесной красоты *не истребилъ*  
Позоръ тюрьмы?

1) Erläuterungen zu den deutschen Klassikern. 48. 49 Bändchen. Schillers Maria Stuart. 4-te Aufl. Lpz. 1892, стр. 134.

2) Düntzer o. c. 135 прим.



Это неумѣстное отрицаніе придасть похвалѣ Мортимера совершенно противоположный смыслъ. Въ слѣд. (7-мъ) явленіи, стр. 149 Марія называетъ Генриха VIII своимъ двоюроднымъ *дядюшкой*; очевидно, слѣдуетъ читать: *дядушкой*.

Иб., стр. 151 Марія спрашиваетъ Бёрлея:

Warum ward Babington mir nicht vor Augen  
Gestellt?

Г. Вейнбергъ переводить: — Почему

Мнѣ свидѣться не дали съ Бабингтономъ?

Здѣсь, безъ сомнѣнія, рѣчь идетъ не о свиданіи, а объ очной ставкѣ на судѣ.

I, 8 (стр. 153) на заявленіе Бёрлея о тяжеломъ положеніи королевы Паулетъ отвѣчаетъ:

Das ist nun die Notwendigkeit, steht nicht zu ändern.

Онъ разумѣетъ данный частный случай. Г. Вейнбергъ едва ли умѣстно, въ виду связи съ послѣдующимъ, обобщаетъ его слова:

Гдѣ дѣйствуетъ необходимость — тамъ  
Перемѣнить нельзя.

Во II-мъ дѣйствіи, явл. 2 (стр. 155) Елисавета говоритъ:

Mein Wunsch war's immer unvermählt zu sterben.

Г. Вейнбергъ переводить: — У меня

Всегдашнее желаніе — безбрачной  
Окончить жпзнь. . . .

Настоящее вр. неумѣстно здѣсь, въ виду ея близкаго согласія на бракъ съ французскимъ принцемъ. Было бы ближе и лучше:

Всегда было желанье — безбрачной и пр.

Здѣсь же (стр. 156) чрезвычайный посолъ Франціи, получивъ для принца орденъ Подвязки говоритъ:

Empfang ich knieend dies Geschenk und drücke  
Den Kuss der Huldigung auf *meiner Fürstin* Hand.

Онъ дѣлаетъ удареніе на *meiner*, спѣша подчеркнуть предстоящую связь Елисаветы съ французскимъ королевскимъ домомъ <sup>1)</sup>).

Г. Вейнбергъ не сохранилъ въ переводѣ этого отгѣлка:

. . . . и поцѣлуй почтенья  
Глубокаго на царственной рукѣ  
Напечатлѣть дерзаю.

II, 3 явл. (стр. 159) Лейчестеръ говоритъ Елисаветѣ:

Da du den Königssohn mit deiner Hand  
Beglücken willst. . . .

Г. Вейнбергъ переводить: — когда ты осчастливить

Рѣшаешься *дофина* ихъ земли. . . .  
Но Monsieur дофиномъ не былъ.

II, 6 явл. (стр. 163) Мортимеръ говоритъ въ своемъ монологѣ о Елисаветѣ:

Erhöhen willst du mich, zeigst mir von ferne  
Bedeutend einen kostbarn Preis. Und wärest  
Du selbst der Preis und deine Frauengunst,  
Wer bist du, Ärmste и пр.

Елисавета выражалась очень осторожно и только позволяла догадываться о томъ, что общается она <sup>2)</sup>; поэтому и Мортимеръ вовсе не увѣренъ въ смыслѣ ея словъ. Не такъ у г. Вейнберга:

Ты хочешь высоко  
Вознестъ меня — наградой драгоцѣнной  
Издалека, но явственно манишь,  
Давъ мнѣ понять, что ты сама, и съ *женской* <sup>3)</sup>

---

1) Düntzer I. c. 158. Nachdem Bellievre mit einem Kusse auf die Hand der Königin, die er schon als seine Fürstin betrachtet etc.

2) Düntzer I. c. 169.

3) Курсивъ у г. Вейнберга.

Своею благосклонностью ко мнѣ  
Награда та! и пр.

Здѣсь же Мортимеръ говорить:

Nie hast du liebend einen Mann beglückt, т. е. ты искренно и сильно никого не любила и потому никого изъ мужчинъ не сдѣлала счастливымъ. По г. Вейнбергу Мортимеръ ставитъ ей въ вину, что она замужъ не вышла: — супругу

Не отдала ты чувства всѣ свои...

II, 8 явл. (стр. 164) Лейчестеръ у г. Вейнберга говорить Мортимеру: — при дворѣ въ двухъ лицахъ вы *seigda*

Являетесь. . . .

Но читателю извѣстно, что Мортимеръ сегодня въ первый разъ попалъ къ англійскому двору. Это наблюдение Лейчестера преждевременно и въ оригиналѣ, но тамъ оно выражено остроумнѣе:

Ich seh'Euch zweierlei Gesichter zeigen  
An diesem Hofe <sup>1)</sup>.

Во II-мъ дѣйствіи, явленіе 9 (168) можетъ быть, по несмотру корректора, пропущена ремарка автора при словахъ Лейчестера: *fasst sich* (овладѣваетъ собою), безъ которой измѣненіе его тона является непонятнымъ. Здѣсь же стр. 169 Елисавета говорить о Маріи:

So oft musst'ich *die Larve* rühmen hören

У г. Вейнберга мы читаемъ:

— Мнѣ о лицѣ ея

Ужъ столько разъ трубили восхваленья. . . .

Переводъ вѣренъ (хотя и тяжелъ немного), но въ немъ не выражено презрительное *Larve* <sup>2)</sup>.

1) Ср. Düntzer I. с. 171—2.

2) Можно бы перевести: «О рожищѣ ея

Мнѣ столько разъ» и пр.

Въ III-мъ дѣйствіи явленіе 4-ое (стр. 173) Марія говоритъ себѣ:

Fahr hin, ohnmächt'ger Stolz der *edeln* Seele!

Г. Вейнбергъ переводитъ:

Оставь меня, о гордость  
Безсильная души *прекрасной*!

*Благородной* свою душу могла назвать Марія, имѣя въ виду свое благородное происхожденіе; но назвать ее *прекрасной* было бы ужъ слишкомъ самомнительно.

Здѣсь же (стр. 174) Елисавета говоритъ Маріи:

Klagt an die wilde Ehrsucht *Eures Hauses*.

Г. Вейнбергъ переводитъ: — обвиняйте. . . .

. . . . Духъ честолюбыя дикій  
*Всѣхъ Стюартовъ*.

Но далѣе Елисавета возводитъ рядъ страшныхъ обвиненій на кардинала Гиза; очевидно, она скорѣй имѣетъ въ виду «домъ» Маріи со стороны матери, чѣмъ со стороны отца.

Здѣсь же (стр. 175) почему то пропущена важная ремарка автора (Елисавета sieht sie lange mit einem Blick stolzer Verachtung an), которая подготавливаетъ читателя къ ея обиднымъ словамъ и въ соединеніи съ послѣдними мотивируетъ вспышку Маріи<sup>1)</sup>.

Въ IV-мъ дѣйствіи, явл. 2-ое (стр. 180) въ переводѣ не ясно выражено здѣсь очень важное различіе между изобрѣтателемъ преступленія и его исполнителемъ. Въ оригиналѣ Обепинъ говоритъ:

1) Въ той же сценѣ (стр. 174) явная опечатка. Марія говоритъ:

— Ihr werdet Euch  
So *blutig* Eurer Macht nicht ueberheben.

Въ переводѣ мы читаемъ: Не захотите

*Коварно* такъ воспользоваться..

Слѣдуетъ читать: *Кроваво*.



Mög'ihn Gott verdammen,  
 Den Thäter dieser fluchenswerten That!  
 — Den Thäter und den schändlichen Erfinder —

прибавляетъ Бёрлей, рѣзко намекая на самого Обепина.

У г. Вейнберга: Да проклянетъ Господь *свершившаго* (sic) гнуснѣйшее злодѣйство

— И низкаго виновника его.

IV, явл. 5 (стр. 183) — Ueberführt.

Ihn nicht der Brief? говорить Елисавета о Лейчестерѣ, разумѣя письмо Маріи Стюартъ къ нему. Г. Вейнбергъ переводитъ:  
 Вотъ

*Его* письмо

IV, 6 (стр. 185) «Armer Prahler» переведено: «Смѣшной болтунъ»; но Prahler — хвастунъ, да Лейчестеръ и обвиняетъ Бёрлея въ хвастовствѣ своими подвигами. Здѣсь же на стр. 186 слова Бёрлея:

. . . . Als wenn Ihr sie, die Ihr geliebt zu haben  
 Beschuldigt werdet, selbst enthaupten lasset

переведены:

. . . . Какъ собственной рукой на эшафотъ  
 Ту возведя, въ любви къ кому вы *свѣтомъ*  
 Обвинены.

Но *свѣтъ* еще ничего не знаетъ о любви Лейчестера къ Маріи; его обвиняютъ только Елисавета и Бёрлей.

IV, явл. 10 (стр. 189): Елисавета говорить о Маріи:

Sie *entriess* mir den Geliebten,  
 Den Bräutigam *raubt* sie mir.

Г. Вейнбергъ, наоборотъ, ставитъ первый глаголъ въ настоящемъ времени, а второй въ прошедшемъ

Любовника *лишаетъ*; отняла  
 И жениха.

Но если Елисавета вѣрить въ пзмѣну Лейчестера (а теперь

она вѣрить въ нее, чтобы оправдать свой поступокъ), то эта измѣна совершилась уже давно; французскому же посланнику отказано только сегодня.

IV, 11-ое явл. (стр. 190): Девисонъ рассказываетъ Елисаветѣ:

Das Toben war auch *augenblicks* gestillt,  
Sobald der Graf von Shrewsbury sich zeigte.

Г. Вейнбергъ переводить:

На нѣсколько мновснй шумъ толпы  
И точно смолкъ. . . . ,

изъ чего читатель можетъ заключить, что потомъ шумъ возобновился снова, а между тѣмъ въ оригиналѣ шумъ смолкъ, и толпа мирно разошлась, вслѣдствіе чего Елисавета и жалуется на ея неустойчивость и легкомысліе.

Въ V-мъ дѣйствіи 6-го явл. (стр. 195) явный недосмотръ. Марія Стюартъ говорить: — *ich segne*

Den allerchristlichsten König, meinen *Schwager*,  
Und Frankreichs ganzes königliches Haus.

Г. Вейнбергъ переводить: — благословляю я

Любезнѣйшаго *тестя* государя  
И Франція весь августѣйшій домъ.

Тестемъ Марія былъ Генрихъ II, скончавшійся еще въ 1559 г.; а съ 1574 г. государемъ Франціи былъ ея деверь — Генрихъ III.

V, явл. 7 (стр. 198) Марія говорить:

Noch eh'sich der *Minutenzeiger* wendet,  
Werd'ich vor meines Richters Throne stehen.

Въ переводѣ здѣсь слишкомъ сильная гипербола:

*Минъ* не пройдетъ — и я предстану, знаю,  
Передъ моимъ Судьей<sup>1)</sup>.

---

1) Можно бы сказать:

«Часть не пройдетъ» или

«Не минетъ часть, и я предстану...»

Въ 8-мъ явл. V-го дѣйствія (стр. 199) были бы не лишними двѣ поправки. Марія говоритъ о Елисаветѣ:—Sagt ihr

Dass ich *ihr* meinen Tod von ganzem Herzen  
Vergebe. . . .

Г. Вейнбергъ переводитъ:

Скажите ей, что я  
*Отъ всей души за смерть мою прощаю* (кого?),  
Что въ рѣзкости вчерашней и пр.

Можно бы измѣнить такъ:

*Отъ всей души ей смерть мою прощаю.*

Въ вопросѣ Бёрлея: «Verschmäh't Ihr noch den Beistand des Dechanten»? der Dechant переведенъ словомъ *священникъ*; но послѣ того, какъ Марія только что причастилась у католическаго священника, желателенъ былъ бы терминъ, указывающій на служителя протестантской церкви.

Въ 12-мъ явленіи V-го дѣйствія (стр. 201) пропущена очень важная ремарка автора. Пажъ говоритъ королевѣ:

Vor Tagesanbruch hätten beide Lords (Лейчестеръ и Бёрлей,  
назначенные присутствовать при казни Маріи)

Eilfertig und geheimnisvoll die Stadt verlassen.

Elisabeth (lebhaft ausbrechend). Ich bin Königin von England!

(*Auf und niedergehend in der höchsten Bewegung*).

Geh! Rufe mir etc.

У г. Вейнберга:

Таинственно и спѣшно оба лорда  
Оставили съ разсвѣтомъ городъ. . . .

Елисавета (порывисто).

Я —

Монархиня Британніи! . . . Скорѣе. . . .

Зови ко мнѣ и пр.

Отсутствіе знаменательной паузы, на которую указываетъ ремарка, можетъ заставитьъ читателя думать, что восклицаніе Елисаветы: «Я — монархиня Британніи» имѣетъ совсѣмъ другой смыслъ, нежели въ оригиналѣ, напр. выражаетъ ея негодованіе, что она не знаетъ о томъ, что дѣлается въ ея столицѣ и т. п.

Вотъ и всѣ неточности, нами замѣченныя. Говорить о томъ, что старый опытный литераторъ и не безызвѣстный еще въ шестидесятыхъ годахъ поэтъ, перевелъ драму Шиллера не только правильнымъ, вполне литературнымъ, но и красивымъ языкомъ, было бы излишне. Но въ виду уже высказанныхъ соображеній, считаемъ не бесполезнымъ отмѣтить всѣ, даже малѣйшія стилистическія неточности или неловкости, какія мы могли найти привнимательномъ двукратномъ чтеніи перевода г. Вейнберга.

На стр. 139 (I-е дѣйствіе 1-е явленіе) г. Вейнбергъ употребляетъ едва ли литературную форму: *отректись* вм. *отречься* или *отрецись*<sup>1)</sup>.

На стр. 140 (I, 2-е явленіе) у г. Вейнберга Марія отвѣчаетъ на предложеніе Паулета:

*Никакихъ*

*Пасторовъ мнѣ! Священника отъ церкви  
Моей родной я требую*<sup>2)</sup>.

*Родная церковь* необычное выраженіе; «*никакихъ пасторовъ мнѣ*» звучить не по-русски.

На стр. 142 (I, 4) слова Кеннеди о Дарилѣ: «онъ, *вами сотворенный*» . . . . было бы лучше замѣнить такъ: «а онъ, созданье ваше» . . . .

1) Что это не опечатка, доказываетъ сходное отсутствіе смягченія въ III, 6 (стр. 176):

*Я умертвлю его*

2) Ich will nichts vom Dechanten. Einen Priester  
Von meiner eignen Kirche fordre ich.



На стр. 146 (I, 6) Мортимеръ говоритъ:

— Въ распоряженіѣ этомъ  
*Чудесное спасеніе небесъ*  
 Я усмотрѣлъ.

Было бы и лучше по-русски и также близко къ оригиналу<sup>1)</sup>.

*Чудесное участіе небесъ.*

На стр. 147 (ib.) Мортимеръ общаетъ Маріи, что 12 «достойнѣйшихъ *туземцевъ* молодыхъ»<sup>2)</sup> увезутъ ее *насилъно* (mit starkem Arm); *насилъно* по употребленію значитъ: «противъ воли».

Иб. Не дремлетъ врагъ и властью  
*Владѣетъ онъ.*

Было бы лучше: «силою владѣетъ онъ».

На стр. 149 (I, 7) необычное согласованіе по смыслу:

Сенатъ страны, *подобные* рабамъ  
 Турецкаго сераля<sup>3)</sup>. . . .

На стр. 155 (II, 2) Елисавета говоритъ:

Мнѣ очень жаль  
*За этихъ всѣхъ вельможъ. . . .*

Тамъ же, по словамъ Бельльевра, принцъ  
 Сердечнымъ нетерпѣньемъ

*Сгораемый*<sup>4)</sup>, въ Парижѣ не хотѣлъ остаться. . . .

Стр. 158 (II, 3) Тальботъ говоритъ:

Позволь мнѣ заступиться  
*За кинутую всѣми*<sup>5)</sup>.

1) Des Himmels wundervolle *Rettungshand*...

2) Слово: *туземецъ*, къ сожалѣнію, получило у насъ слишкомъ узкое значеніе.

3) Можно бы сказать: Сенатъ страны, какъ будто бы рабы...

4) Можетъ быть, опечатка вм. *сжигаемый*?

5) Dass ich die Aufgegebene beschütze

Можно бы перевести: Позволь мнѣ защитить

Покинутую всѣми.

Стр. 161 (II, 4) Елисавета говоритъ о Маріа:

О, какъ ея языкъ  
Теперешній совѣтъ иной, чѣмъ прежній<sup>1)</sup>. . . .

Стр. 168 (II, 9) Лейчестеръ говоритъ Елисаветѣ:

Анжуйскій принцъ тебя,  
Твое лицо не видѣлъ.

Тамъ же Елисавета говоритъ:

Мнѣ счастье такое  
Не выпало на долю. . . .<sup>2)</sup>

Стр. 172 (III, 3) слова Маріа: «Nie ist zwischen uns Ver-söhnung» г. Вейнбергъ переводить:

Межъ насъ не можетъ быть *насъки* примиренья;  
но *насъки* значить: *навсегда*; здѣсь же надо поставить: *во вѣки*.

Тамъ же Шресбернъ говоритъ Маріа о Лейчестерѣ:

Желаетъ вашу гибель  
Совѣтъ не онъ<sup>3)</sup>

На стр. 181 (IV, 2-е явл.) Бёрлей говоритъ Лейчестеру:

— смотрите, какъ бы тамъ  
Не кинуло васъ краснорѣчье ваше<sup>4)</sup>.

На стр. 183 (IV, 5 явл.) Елисавета спрашиваетъ Бёрлея:

Велѣли ль вы не допустить его,  
Когда придетъ?

1) Welch andre Sprache führt Sie jetzt, als damals!

2) Род. пад. не разрушилъ бы стиха:

Мнѣ счастья такого  
Не выпало и пр.

3) Можно бы сказать:

Желаетъ погубить васъ  
Совѣтъ не онъ

4) Можно бы сказать:

— Смотрите, тамъ, пожалуй,  
Покинетъ васъ все краснорѣчье ваше.

Правильное: *Не допускать* не повредить и стиху <sup>1)</sup>.

На стр. 189 (IV, 9-е явл.) Елисавета говорить:

— Въ великомъ этомъ дѣлѣ  
*Совѣтъ и утѣшеніе* у людей  
*Мнѣ не найти* <sup>2)</sup>.

На стр. 190 (IV, 11-е явл.) Девисонъ рассказываетъ:

усмирилось все  
 И въ тишинѣ мало-по-малу площадь  
*Очистило* <sup>3)</sup>.

На стр. 198 (V, явл. 7) слова Маріи:

So schenke mir die ew'ge Gnade Sieg  
 Im letzten Kampf, als ich dir wissend nichts ver-  
 schwiege.

Г. Вейнбергъ переводить:

Пусть благодать Господня такъ даруетъ  
 Побѣду мнѣ въ послѣдней ужъ борьбѣ,  
*Какъ* я во всемъ, что душу мнѣ волнуешь,  
 Умышленно *не* создалась тебѣ.

Здѣсь слѣдуетъ или вмѣсто *какъ* поставить *коль* (= если), или надо въ послѣднемъ стихѣ опустить отрицаніе, придающее словамъ героини совершенно извращенный смыслъ.

1) Также ошибочно поставленъ совершенный видъ вм. несовершеннаго въ словахъ Елисаветы въ V дѣйствіи, 15 явленіи (стр. 203):

Но вамъ, милордъ, но вамъ  
*Предупредить* не подобало кротость  
 Моей души.

2) Можно бы сказать:

*Совѣта, утѣшенья*. . . .  
 Мнѣ не найти.

3) Можетъ быть, здѣсь двѣ опечатки: пропущена запятая послѣ *все* и *очистило* стоитъ вм. *очистилась*?

Имѣя въ виду, что означенные недостатки перевода П. И. Вейнберга, сами по себѣ немногочисленные сравнительно съ объемомъ произведенія, съ избыткомъ покрываются вышеуказанными его достоинствами, имѣю честь предложить Отдѣленію, на основаніи § 4 и прим. къ § 9 Правиль о преміяхъ А. С. Пушкина, присудить П. И. Вейнбергу премію въ томъ размѣрѣ, въ какомъ Отдѣленіе признаетъ это справедливымъ.

---

## II.

### Сочиненія А. Лугового.

Три тома. СПБ., 1895 г.—

Рецензія, составленная К. К. Арсеньевымъ.

---

Сочиненія г. Лугового очень разнообразны и по формѣ, и по содержанію. Для удобства разбора можно выдѣлить изъ нихъ, прежде всего, три группы повѣстей и разсказовъ: 1) анекдотическаго свойства, 2) о маленькихъ людяхъ и ихъ «незамѣтномъ существованіи» и 3) изъ народнаго быта. Останутся, затѣмъ, театральныя пьесы и стихотворенія, а также наиболѣе выдающіяся произведенія г. Лугового — «Грани жизни» и «Pollice verso».

Къ разсказамъ анекдотическаго свойства, наименѣе важнымъ между сочиненіями г. Лугового, мы относимъ — независимо отъ ихъ размѣровъ, иногда довольно значительныхъ — всѣ тѣ, которые, не претендуя ни на характеристику дѣйствующихъ лицъ, ни на изображеніе той или другой стороны общественной жизни, сводятся къ воспроизведенію какой-либо сцены или къ пересказу какихъ-нибудь событій, и представляютъ интересъ чисто-внѣшній. Такова, безспорно, «Простая случайность» —



исторія нерѣшительнаго молодого человѣка и энергичной дѣвицы, свадьба которыхъ устраивается только благодаря тому, что она случайно подслушала разговоръ *ею* съ его матерью; таковъ «Музыкантъ въ своемъ родѣ» — анекдотъ о неудачникѣ-дилетантѣ, желающемъ научиться игрѣ на какомъ-нибудь инструментѣ и покупающемъ скрипку, которая затѣмъ, путемъ постепенныхъ промѣновъ, обращается въ флютъ-гармонію, въ гитару, въ флейту, въ окарину — и наконецъ въ концертный билетъ; такова «Нервная почъ» — монологъ чахоточной дѣвушки, произносимый отрывками, подъ гнетомъ бессонницы, во всѣхъ возможныхъ темпахъ и отгѣнкахъ, юмористически обозначаемыхъ музыкальными терминами; такова «Ольга Ярославна» — легкій абрисъ капризной и свѣтской барыни, отдыхающей въ деревнѣ отъ заграничныхъ приключеній и находящей неожиданное счастье въ любви къ человѣку «не изъ общества»; таковъ «Nocturne», нѣсколько претенціозно озаглавленный: «этюдь *plein air*» — бесѣда двухъ пустынькихъ дамъ, изъ которыхъ одна, уже знакомая съ запретной любовью, слегка подталкиваетъ другую на ту же дорогу; такова «*quasi una fantasia*» — «Не отъ міра сего», повѣствующая о томъ, какъ слабонервная, малокровная барышня, ѣдущая лѣчиться на Кавказъ, надѣется встрѣтить тамъ олицетвореніе своего идеала — лермонтовскаго Демона, и умираетъ отъ разрыва сердца. услышавъ ночью, при романтической обстановкѣ, красиво спѣтую арію изъ «Демона» Рубинштейна; таковъ, наконецъ, и длинный разсказъ «Нѣсколько поцѣлуевъ», хотя герой его считаетъ себя новѣйшимъ Донъ-Жуаномъ и даже обзавелся своимъ Лепорелло. При выборѣ подобныхъ темъ все зависить отъ ихъ обработки — а г. Луговому не дано умѣнье заставить забыть, съ помощью художественной рамки, незначительность сюжета. По своей основной мысли, но не по исполненію, изъ разсматриваемой нами категоріи разсказовъ нѣсколько выдѣляется «Алльмірор», герой котораго — скромный учитель, работающій надъ созданіемъ новаго всемірнаго языка, болѣе благозвучнаго, чѣмъ Эсперанто. — Онъ

воображаетъ себя, въ силу этой работы, «однимъ изъ артели настоящихъ вольныхъ каменщиковъ, строившихъ и строящихъ вавилонскую башню человѣческаго благополучія» — не спитъ ночей, переутомляется физически и нравственно и доходитъ до состоянія, близкаго къ помѣшательству. Какъ *психіатрическій* этюдъ, «Альміроръ» не представляетъ ничего законченнаго и цѣльнаго, потому что мы не видимъ начала болѣзни, не знаемъ, что predisposed къ ней Федора Николаевича, почему мысль, у другихъ уживающаяся съ здоровою дѣятельностью, у него обратилась въ мономанію. Какъ этюдъ *психологическій*, какъ очеркъ постепеннаго подчиненія человѣка подѣ власть идеи, «Альміроръ» не можетъ произвести сильнаго впечатлѣнія, потому что самая идея, овладѣвающая Федоромъ Николаевичемъ, не принадлежитъ къ числу тѣхъ, деспотическое единовластіе которыхъ — надъ нормальнымъ умомъ — естественно и законно. Когда Федоръ Николаевичъ сравниваетъ себя мысленно съ Архимедомъ и Франклиномъ, когда онъ «чувствуетъ себя титаномъ», испытываетъ «кажущійся полетъ и приковывающія цѣпи, безграничную силу и головокруженіе паденія» — насъ поражаетъ явное противорѣчіе между значеніемъ изобрѣтенія и настроеніемъ изобрѣтателя. Жалѣя о послѣднемъ, какъ о несчастномъ больномъ, мы не можемъ сочувствовать ему, какъ мученику мысли, изнемогающему подѣ бременемъ дѣйствительно великой задачи. Всемирный языкъ — это своего рода стенографія, совокупность знаковъ, съ которыми согласились соединить извѣстныя понятія; все дѣло здѣсь именно въ всеобщности соглашенія, а не въ самыхъ знакахъ, всегда условныхъ и произвольныхъ... Самый удачный изъ разсказовъ-анекдотовъ — «Счастливецъ». Центральной его фигурѣ — разорившемуся барину, «опростившемуся» не въ смыслѣ героевъ тургеневской «Новя» и не по образцу Льва Толстого, а скорѣе на манеръ древнихъ циниковъ — нельзя отказать въ оригинальности. Это только силуэтъ, но силуэтъ типичный; «счастливецъ» остается въ памяти читателя, изъ которой быстро исчезаютъ дѣйстви-

юція лица другихъ названныхъ нами до сихъ поръ произведеній.

*Вторая* категорія разсказовъ отличается отъ первой болѣею серьезностью замысла, болѣею тщательностью отдѣлки. Это уже не эскизы, а болѣе или менѣе законченныя картины, связанныя между собою желаніемъ проникнуть въ тѣ общественныя низины, гдѣ жизнь течетъ медленно, однообразно, но все же приноситъ съ собою и радости, и невзгоды. На рубежѣ между обѣими группами стоитъ разсказъ: «Тепломъ повѣяло». Предъ нами проходитъ здѣсь только одинъ день изъ жизни Порфирія Ивановича — но этотъ день бросаетъ яркій ретроспективный свѣтъ на все его прошедшее. Къ старику, рано овдовѣвшему и оттолкнувшему отъ себя единственную дочь, потому что она задумала выйти замужъ противъ его воли, пріѣзжаетъ внезапно внучка, которую онъ никогда не видалъ и о самомъ существованіи которой ничего не зналъ. Онъ застылъ въ своемъ равнодушіи ко всему и ко всѣмъ, въ спокойствіи своего безвреднаго, но столь же бесполезнаго одиночества. Безхитростные разсказы внучки, ея простая, откровенная бесѣда пробуждаетъ его отъ этого полу-сна и наводятъ его на мысль, что вся прежняя его жизнь была сплошною ошибкой, что онъ гораздо болѣе виноватъ передъ умершей дочерью, чѣмъ дочь — передъ нимъ. Конечно, раскаяніе Порфирія Петровича не можетъ быть особенно горькимъ, поворотъ его къ другому строенію — особенно рѣзкимъ; но все же мимоходомъ «повѣявшее тепло» оставляетъ его не тѣмъ, чѣмъ онъ былъ раньше. Разсказъ проникнутъ искренней задушевностью и вмѣстѣ съ тѣмъ большою сдержанностью; нѣтъ ничего натянутаго, ничего лишняго; очень тонко намѣчено отсутствіе внутренней связи между дѣдомъ и внучкой, которые, по наивнымъ словамъ послѣдней, въ одинъ день, несмотря на радость встрѣчи, «все переговорили»... Шире задуманы, но во многихъ отношеніяхъ слабѣе разсказы: «На куриномъ насѣстѣ» и «Исполнили», основная мысль которыхъ выражена въ слѣдующихъ словахъ самого

автора (т. I, 175): «горе, горе! Гдѣ родилось ты, зачѣмъ выросло на этомъ бѣломъ свѣтѣ? Гдѣ счастливецъ тотъ, кого ни разу не давило ты своимъ тяжелымъ гнетомъ? Какъ громадная лавина, сорвавшаяся съ недосягаемыхъ вершинъ, катится съ возрастающей быстротой къ подножію горы, захватывая въ свои ледяныя объятія и высокія деревья, и мелкій кустарникъ, и орлиныя гнѣзда, и *куриные насѣсты*, — такъ и ты, горе! не селъ по бѣлу свѣту, налетая невѣдомо откуда, и захватываешь на пути своемъ и богатыхъ, и бѣдныхъ, и молодыхъ, и старыхъ». Да, это совершенно вѣрно; можно было бы продолжить сравненіе и сказать, что разрушеніе лавиною, реальною или метафорическою, жалкой хижинны нищаго — бѣдствіе отнюдь не меньшее, чѣмъ разрушеніе ею великолѣпныхъ палатъ богача или вельможи. Особенно крупную роль горе, испытываемое «на куриномъ насѣстѣ», играетъ именно въ русской литературѣ. Начиная съ «Станціоннаго Смотрителя» Пушкина, съ Максима Максимовича въ «Героѣ нашего времени», особенно съ «Шинели» и «Бѣдныхъ людей», оно внушаетъ нашимъ великимъ писателямъ нѣкоторыя изъ самыхъ замѣчательныхъ ихъ произведеній. Если, однако, присмотрѣться поближе къ тому, что именно плѣняетъ и трогаетъ насъ въ этихъ произведеніяхъ, то не трудно замѣтить одну общую имъ черту: горе, которое они изображаютъ, коренится въ самой глубинѣ человѣческаго сердца, или прямо задѣвая самыя отзывчивыя его струны, или заимствуя особую силу отъ всего прежде пережитаго и пережитоваго. Другими словами — оно не поверхностно и зависитъ не только отъ случая. Такъ напримѣръ, горе Дѣвушкина въ «Бѣдныхъ людяхъ» вытекаетъ изъ старческой любви, тѣмъ болѣе мучительной, что она была его первымъ и единственнымъ сильнымъ чувствомъ; къ этому присоединяется ощущеніе приниженности, сознаніе нравственнаго упадка, страхъ передъ дальнѣйшимъ паденіемъ. Горе Акакія Акакіевича по своему источнику болѣе мелко, но оно захватываетъ все его существо, потому что его жизнь, сѣрая, непривѣтная и мертвенно-



скучная, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ была озарена и скрашена исключительно ожиданіемъ новой шинели. Ничего подобнаго мы не видимъ въ разсказахъ г. Лугового. Горе, постигающее семью Гордѣвыхъ («На куриномъ насѣстѣ») или семью Мироновыхъ («Исполнили»), имѣетъ чисто случайную причину: тамъ — несостоятельность торговца, которому мать Григорія Гордѣича ввѣрила свои послѣднія деньги, и затѣмъ смерть Григорія Гордѣича отъ простуды, здѣсь — неисправность товарища, за котораго поручился Иванъ Ивановичъ. Конечно, можно посмотреть на оба разсказа и не съ той точки зрѣнія, съ которой они, по видимому, задуманы авторомъ; въ одномъ изъ нихъ («На куриномъ насѣстѣ») можно видѣть исторію постепеннаго умиранія еще при жизни, вслѣдствіе страшной умственной пустоты и полнѣйшаго отсутствія высшихъ интересовъ, въ другомъ («Исполнили») — повѣствованье о непрочномъ счастьѣ «маленькихъ людей», безсильномъ устоять не только противъ лавины, но даже противъ одной снѣжинки. Обѣ задачи сами по себѣ далеко не лишены интереса, но исполненіе ихъ г. Луговымъ едва ли можно признать удачнымъ. Григорій Гордѣичъ выступаетъ на сцену совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, сходитъ съ нея почти старикомъ — но за все это время онъ не мѣняется вовсе; болото, въ которое онъ попалъ, засасываетъ его сразу; онъ не борется съ своей судьбой и даже доволенъ ею, находя, что «достигъ всего, чего хотѣлъ, и еще достигать будетъ». Отсюда крайнее однообразіе разсказа, растянутого на сотню страницъ. Существованіе такихъ людей, какъ Григорій Гордѣичъ, не имѣетъ исторіи; оно всегда равно самому себѣ, въ какой бы моментъ ни было взято. Для маленькаго жанроваго рисунка оно могло бы дать хорошій матеріалъ — но авторъ предпочелъ взять большое полотно, и картина вышла тусклой и блѣдной. Такъ же непомѣрно и несоотвѣтственно сюжету растянуть и разсказъ: «Исполнили». Въ дѣйствительной жизни насъ тронуло бы, безъ сомнѣнія, зрѣлище невзгодъ, обрушивающихся, одна за другою, на ни въ чемъ неповинныхъ людей; мы задумались бы, быть

можетъ, надъ общественными условіями, при которыхъ, изъ-за сущей бездѣлицы, гибнетъ цѣлая семья; но въ изложеніи г. Лугового участъ Мироновыхъ оставляетъ насъ совершенно равнодушными. Авторъ какъ будто самъ чувствуетъ это, прибѣгая, для усиленія эффекта, къ несвойственнымъ ему, вообще, мелодраматическимъ приемамъ: рѣшимость Ивана Ивановича покончить съ собою созрѣваетъ при звукахъ площадной пѣсни, которую поетъ въ сосѣдней комнатѣ мальчишка-маляръ, отдирая обои...

На одинъ рядъ съ разсказами «Исполнили» и «На куриномъ насѣстѣ» можно поставить и «Между двухъ смутныхъ идеаловъ». Къ «маленькимъ людямъ» принадлежатъ не только Свіягинъ, слабый и вялый маменькинъ сыночекъ, погрязшій по уши въ мелочахъ узко-разсчитливаго, а иногда до гадости скупого хозяйства, — но и Касаткинъ, старающійся хотя немного приподнять своего опустившагося пріятеля. У Свіягина нѣтъ никакого идеала, даже «смутнаго»; вѣдь нельзя же считать идеаломъ ни формулу: «будь бережливъ и сокращай свои потребности» (если единственная цѣль сокращенія — безцѣльное и безплодное «накопленіе»), — ни «землевладѣльческіе и общедворянскіе интересы», отстаиваемые «когда нужно» и «по общепринятому шаблону», — ни принятые на вѣру обрывки славянофильскихъ теорій. Свіягинъ — просто подголосокъ своей матери, этого Плюшкина въ юбкѣ, хотя и въ миниатюрныхъ размѣрахъ. Правда, Касаткину удастся вызвать въ немъ какіе-то «порывы» — но они угасаютъ безслѣдно. Напрасно авторъ приписываетъ это, въ концѣ разсказа, «безволію» Свіягина; еслибы у него и было больше энергіи, ему не къ чему было бы приложить ее, за отсутствіемъ ясно сознанный цѣли. Полу-трагическая окраска финала вообще, какъ намъ кажется, мало вяжется со всѣмъ предыдущимъ: Свіягину было слишкомъ уютно и спокойно въ пыльномъ и душномъ уголкѣ, уготованномъ для него матерью, чтобы слова Касаткина — одни слова — могли перевернуть вверхъ дномъ его душевный строй и подсказать жестокій приговоръ, произноси-

19 \*

мый имъ надъ матерью и надъ самимъ собою («что такое былъ я всю жизнь? объектъ любви для мамы... а въ сущности — первый номеръ живого инвентаря свіагинской усадьбы!»). Правда, къ словамъ Касаткина присоединился отказъ, полученный Свіагинымъ отъ Сони — но вѣдь любовь не имѣла глубокихъ корней въ его сердцѣ, столь же дрябломъ, какъ и его воля... Мы только что сказали, что единственнымъ средствомъ вліянія Касаткина на Свіагина были *слова*. Безспорно, слово — орудіе могучее, но только тогда, когда за нимъ виднѣется хотя бы возможность дѣла. Рудинъ, наприимѣръ, магически дѣйствуетъ на слушателей, но лишь до тѣхъ поръ, пока они ожидаютъ отъ него чего-то большаго; прекращается это ожиданіе — исчезаетъ и чарующая сила слова. Между тѣмъ, Свіагинъ съ самаго начала называетъ Касаткина «пассивнымъ зрителемъ» жизни, «суфлеромъ» — и Касаткинъ признаетъ примѣнимость къ нему этой клички, обостряя её еще болѣе обидными придатками: «суфлеръ-доброволецъ, суфлеръ въ любительскомъ спектаклѣ у добрыхъ знакомыхъ»! Чтò обрекло его на роль суфлера — этого мы не узнаемъ; о прошедшемъ Касаткина авторъ не говоритъ почти ничего. А между тѣмъ въ этомъ вся суть: зная Касаткина по однимъ разговорамъ съ Свіагиными и Мальковыми, мы видимъ въ немъ только *manivelle à sentences*, а не живое лицо. Его идеалы болѣе чѣмъ смутны — они банальны: онъ проповѣдуетъ культуру, трудъ, одновременное стремленіе къ своему и чужому счастью. Попадаются, въ его безконечныхъ рѣчахъ, замѣчанія мѣткія и вѣрныя, но есть и неудачныя претензіи на остроуміе или глубокомысліе. Такъ наприимѣръ, онъ называетъ пессимизмъ Шопенгауера *сквернизмомъ*, и это выраженіе такъ нравится ему, что онъ черезъ нѣсколько страницъ опять его повторяетъ. А вотъ опредѣленіе культуры, предлагаемое Касаткинымъ: «Культура — это широкій кругозоръ съ каждой маленькой точки, на которой бы ни стоялъ человѣкъ; это умѣнье понимать свое значеніе въ непредѣльномъ времени и пространствѣ, умѣнье пользоваться опытомъ прошедшаго для лучшаго будущаго. Куль-

тура для меня — синонимъ прогресса». Но развѣ прогрессъ — синонимъ высшаго философскаго пониманія, съ которымъ Касаткинъ такъ произвольно отождествляетъ культуру? Культура, въ обычномъ смыслѣ слова — возможное достояніе всѣхъ и каждаго; въ натянутой формулѣ Касаткина — она удѣлъ немногихъ избранныхъ... Замѣтимъ, въ заключеніе, что авторъ, неизвѣстно для чего, сдѣлалъ обоихъ своихъ героевъ неизлѣчимо-больными, еще болѣе уменьшивъ, этимъ самымъ, и безъ того слабую ихъ типичность.

Къ *третьей* категоріи разсказовъ г. Лугового — изъ народнаго быта — принадлежать «Не судилъ Богъ», «Однимъ часомъ», «За грозой — ведро» и «Швейцаръ»; сюда же примыкають очерки «Изъ поѣздки къ голодающимъ», вносящіе немного новаго и характеристичнаго въ литературу «голоднаго года». «Не судилъ Богъ» — дебютъ г. Лугового въ области беллетристики — до сихъ поръ остается однимъ изъ лучшихъ его разсказовъ. Очень хорошъ волжскій пейзажъ; очень симпатична любовная идиллія, скоро уступающая мѣсто драмѣ. Гибель Петра, въ то время, какъ онъ ѣдетъ на свиданіе съ Матреной, изображена съ большою сдержанностью и силой. «Однимъ часомъ» — прекрасно нарисованная картина деревни, сначала изнемогающей отъ засухи, потомъ разоряемой внезапно налетѣвшимъ градомъ. Въ разсказѣ «За грозой — ведро» автору одинаково удалось обѣ главныя фигуры: удалого ямщика Ильи и строгой, серьезной Дуни, долго не дающей воли своему чувству. Въ пхъ простую исторію искусно вставленъ забавный эпизодъ запряганія генеральскаго тарантаса. Не измѣняетъ успѣхъ г. Луговому и тогда, когда мѣсто дѣйствія разсказа переносится въ городъ. Въ «Швейцарѣ» какъ живой встаетъ передъ нами одинокій, больной старикъ, переброшенный изъ деревни и казармы въ каморку подъ лѣстницей большого столичнаго дома и спокойно ждущій смерти, какъ избавленія отъ мелкихъ булавочныхъ уколовъ безотраднaго существованія. Жаль, что г. Луговой съ 1889 г. ни разу не возвращался къ народному быту; все сдѣ-



ланное имъ въ этой сферѣ стоять выше средняго уровня его произведеній.

Изъ двухъ пьесъ, написанныхъ г. Луговымъ для театра, первая по времени, «За золотымъ руномъ», совершенно правильно названа имъ «сценами изъ похода современныхъ аргонавтовъ». Это дѣйствительно рядъ сценъ, удачныхъ именно постольку, поскольку идетъ рѣчь о «золотомъ рунѣ», въ образѣ никому, кромѣ самихъ аргонавтовъ, не нужной желѣзной дороги. Безмѣрное легкомысліе, съ которымъ задумываются подобныя предпріятія, жадность однихъ, наивность другихъ, мелкая расчетливость третьихъ изображены, мѣстами, недурно; особенно удачно совѣщаніе «предпринимателей» въ первомъ дѣйствіи и составленіе, по алфавиту, списка товаровъ, которые будетъ перевозить новая дорога — во второмъ. Новаго, впрочемъ, во всемъ этомъ мало; спекулятивная горячка — тема довольно избитая въ нашей литературѣ. Рельефно очерченныхъ характеровъ нѣтъ. Второстепенное дѣйствіе, переплетенное съ главнымъ — сватовство у Косолаповыхъ — ничего не прибавляетъ къ интересу пьесы; превращеніе молодого Коломнина изъ пустѣйшаго хлыща и искателя фортуны, какимъ мы его видимъ въ первомъ дѣйствіи, въ человѣка способнаго полюбить искренно и безкорыстно, остается совершенно не мотивированнымъ. Серьезнѣе замыселъ драмы «Озимь»: здѣсь есть, на подобіе пьесъ Дюма-сына, резонеръ (акцизный чиновникъ Васильевъ), разъясняющій намѣренія автора. Въ Любовь Андреевну Корюхину, сравнительно образованную дѣвушку, влюбленъ добродушный, но мало развитой и безхарактерный сынъ богатаго кулака-винооторговца Бочарова. Она къ нему равнодушна, но знаетъ, что, согласясь выйти за него замужъ, можетъ спасти отъ разоренія нѣжно любимаго ею отца. Колебаніямъ ея кладетъ конецъ Васильевъ, развертывая передъ ея глазами картину благихъ послѣдствій, которыя повлечетъ за собою ея вступленіе въ семью Бочаровыхъ — этотъ своего рода «крестъ», своего рода «служеніе родинѣ». Изъ Ивана Данилыча, предоставленнаго са-

мому себѣ, выйдетъ «Данило Макарычъ номеръ второй» — а подѣя вліяніемъ онъ можетъ сдѣлаться «достойнымъ мужемъ и отцемъ». «На мѣста учительницъ, акушеровъ, врачей» — такъ вразумляетъ Васильевъ Любовь Андреевну, мечтавшую объ отъѣздѣ въ Петербургъ на медицинскіе курсы, — «пойдутъ многія и кромѣ васъ; пойдутъ даже и землю пахать, и сѣно съ бабами косить. Но въ жены Иванамъ Данилычамъ имъ попасть гораздо труднѣе; съ одной стороны, по великому заблужденію, онѣ будутъ считать это не подвигомъ, а нравственнымъ паденіемъ, а съ другой стороны и Данилы Макарычи не будутъ брать ихъ въ жены своимъ сыновьямъ, потому что онѣ пришлыя, чужія, не родныя... Любите вы, горячѣй любите тотъ городъ, тотъ клочекъ земли, гдѣ вы родная, и помните: святое это чувство... Вотъ здѣсь, въ глухой провинціи, вы одна изъ тѣхъ молодыхъ русскихъ женщинъ, въ рукахъ которыхъ будущее нашей родины. Вы должны воспитать здѣсь новое, лучшее поколѣніе и, если будетъ нужно, принести ему въ жертву и ваше личное счастье, и всю вашу жизнь, не требуя себѣ за это награды. Вы знаете — *у насъ на сѣверѣ мы не стѣмъ весной рожь, чтобы собрать къ осени урожай отъ нея. Мы прежде стѣмъ озимъ и пережидаемъ зиму.* Будьте же и вы этой озимью, укрѣпите корни, а жатву соберутъ ваши дѣти и внуки». Къ этому сравненію Васильевъ возвращается годъ спустя, когда, несмотря на бракъ Любви Андреевны и Ивана Данилыча, не только все осталось по прежнему въ домѣ Бочаровыхъ, но даже не улучшилось положеніе Корюхина, арестованнаго за долгъ Данилѣ Макарычу. Отчаянію и гнѣву Любви Андреевны Васильевъ противопоставляетъ ссылку на жатву, виднѣющуюся въ отдаленномъ будущемъ, и когда Любовь Андреевна останавливаетъ его словами: «это красивая фраза», онъ восклицаетъ: «фразы совершали перевороты въ исторіи, заставляли тысячи сердець биться въ тактъ, какъ одно сердце» (опять та же вѣра въ силу слова, взятаго *an und für sich*, какую мы видѣли въ разсказѣ: «Между двухъ смутныхъ идеаловъ»). «Озимъ можетъ

вымерзнуть» — возражаетъ Любовь Андреевна, — «и ничего изъ нея не выростетъ». «Любите вашу новую семью, держитесь ея крѣпко» — отвѣчаетъ Васильевъ — «и тогда озимь не вымерзнетъ». Хотя Любовь Андреевна и замѣчаетъ, въ концѣ концовъ, что Васильевъ «не то успокоилъ ее, не то съ толку сбиль», все же надо думать, что устами Васильева говоритъ авторъ; на это указываетъ и самое заглавіе пьесы, къ которому разсужденія Васильева служатъ комментариемъ. Ходъ дѣйствія, однако, скорѣе опровергаетъ, чѣмъ подтверждаетъ теорію озими, признанную къ неравному браку. Легко сказать: «держитесь вашей новой семьи» — но не всегда легко слѣдовать этому совѣту. Любовь Андреевна очевидно не уважаетъ мужа, безсильнаго выбиться изъ-подъ отцовской опеки; не только онъ — даже ихъ ребенокъ начинаетъ, въ тяжелую минуту, казаться ей чужимъ; она тяготится притворствомъ и ложью, которыми проникнуты ея отношенія къ свекру. Что вышло бы изъ этого, еслибы не внезапная смерть Данилы Макарыча — сказать трудно; весьма вѣроятно, что «озимь» вымерзла бы еще осенью... Двѣ основныя мысли, проводимыя Васильевымъ, очень слабо, вдобавокъ, связаны между собою. Можно любить, горячо любить «родной клочекъ земли» и доказать эту любовь всюю своею жизнью, не принося опасной, рискованной жертвы, на которую Васильевъ подбиваетъ Любовь Андреевну. Возвратясь на родину фельдшерцей или акушеркой, Любовь Андреевна могла бы принести ей не меньше пользы, чѣмъ женою Ивана Данилыча, даже передѣланнаго на ея ладъ — а гдѣ основанія для увѣренности, что такая передѣлка совершится, что женѣ, даже послѣ смерти свекра, удастся вдохнуть въ мужа новую жизнь или всецѣло подчинить его своему вліянію?... «Озимь» страдаетъ, въ нашихъ глазахъ, всѣми недостатками тенденціозности, не имѣя ея достоинствъ: тема, выбранная авторомъ, не можетъ быть названа крупной и важной, вѣрность ея по меньшей мѣрѣ сомнительна — а между тѣмъ она мечется въ глаза, усиленно подчеркивается, проводится съ утомительною настойчивостью. Естественно ли, чтобы Ва-

силевъ, на разстояніи цѣлаго года, вспомнилъ сравненіе, когда-то пущенное имъ въ ходъ, и сталъ бы сизнова развивать его, хотя собесѣдникъ его не до сравненій?... Фигура Бочарова ничего не прибавляетъ къ столь извѣстному типу самодура; фигура его сына — одна изъ самыхъ блѣдныхъ между многочисленными жертвами самодурства. Весьма слабо мотивированъ, наконецъ, и поворотный пунктъ драмы — рѣшимость Бочарова довести Корюхина до личнаго задержанія. Опаснымъ для него соперникомъ Корюхинъ давно уже пересталъ быть; идти на встрѣчу неизбежной семейной бурѣ у Бочарова не было никакой серьезной причины.

Стихотворенія г. Лугового едва ли могутъ что-нибудь прибавить къ его литературной извѣстности. Нѣкоторыя изъ нихъ очень напоминаютъ другихъ поэтовъ: «Утомленный борьбою безплодною» и «Опять на Волгѣ» — Некрасова, «Русь» — его же, вперемѣшку съ Хомяковымъ, «Съ чужбины» — Гейне, «За-чѣмъ я встрѣтилъ васъ», «Крымскіе пейзажи» — Бенедиктова; во-второмъ изъ «Крымскихъ пейзажей» («Горы») попадаются строки, точно скопированныя съ прогремѣвшаго когда-то «Утеса» (у Бенедиктова: «отъ времени только бразды вдоль чела»; у г. Лугового: «морщины легли на скалистомъ челѣ». У Бенедиктова: «ему не живителенъ солнечный лучъ»; у г. Лугового: «полдневнаго солнца живительный лучъ»). Другія стихотворенія труднѣе приурочить къ определенному имени, но они производятъ впечатлѣніе сто-первой варіація на давно знакомую тему: таковы «Кавказъ», «Ялта», «Милой шуткой дразня и лаская», «Ни облачка», «Не ищите въ жизни цѣля», «Помню васъ дѣвочкой», «Памяти друга-поэта», «*Taedium vitae*». Немногимъ выше «Секстия», отличающаяся только довольно искуснымъ примѣненіемъ трудной стихотворной формы (однѣ и тѣже рифмы, въ измѣняющемся лишь порядкѣ, во всѣхъ шести шестистрочныхъ строфахъ). Чѣмъ глубже мысль, которую авторъ хочетъ выразить въ стихотвореніи, тѣмъ меньше, обыкновенно, оно ему удается. Весьма слабо, напримѣръ, поэтическое *profession de foi*



г. Лугового: «Credo... quia absurdum» (заглавіе — вовсе не соотвѣтствующее содержанію), гдѣ попадаются такіе, напримѣръ, стихи: «не требуй, чтобъ я былъ сухимъ педантомъ и твердо шелъ обдуманымъ путемъ» (какъ будто бы итти обдуманнымъ путемъ — тоже самое, что быть педантомъ! Последнее слово очевидно употреблено только какъ рѣшующее съ являющимся далѣе Кантомъ); «пойдемъ страдать, гдѣ пролетарій голый ждетъ помощи, участія и молитвъ»; «смотри: вѣнкомъ лавровымъ я украшу того, кто трезво жить научить насъ, и весело съ нимъ (съ учителемъ трезвости?!) выпью яда чашу изъ буйныхъ рукъ вакханки въ пьяный часъ». Намъ кажется, что г. Луговой, какъ писатель — вовсе не такое вмѣстѣлище противоположныхъ крайностей, какимъ онъ себя выставляетъ: въ его сочиненіяхъ не встрѣчается ни «хвалы грѣхамъ», ни «равнодушія къ добру и злу», ни вакхическихъ чашъ съ сладкимъ ядомъ — какъ не встрѣчается, съ другой стороны, и «языка страстей» или «гордаго міра чудесь...» Контрастъ между намѣреніемъ и исполненіемъ доходитъ до *pes plus ultra* въ «Сумасшедшемъ проклятіи»: оно должно навести ужасъ, а вызываетъ только улыбку... Лучшее изъ числа «идейныхъ» стихотвореній г. Лугового — «Жалко Гуса», очень удачно примыкающее къ извѣстному «Приговору» А. Н. Майкова. Больше по мысли, чѣмъ по исполненію недурны «Двѣ октавы»; есть хорошенькія мѣста въ поэмѣ «Борь». Наконецъ, очень мило стихотвореніе «Юморъ»:

«Юморъ, какъ рѣзвый ребенокъ, игривъ и безпечень,  
Дерзокъ, какъ мощный титанъ, Громовержца хулитель,  
Глубокомысленъ, какъ вѣщій поэтъ и мыслитель,  
Разнообразенъ, какъ жизнь, — и, какъ міръ, безконеченъ».

Читающей публикѣ г. Луговой извѣстенъ, думается намъ, всего больше какъ авторъ «*Pollice verso*»<sup>1)</sup>. Мысль этого произ-

---

1) Въ римскомъ циркѣ опущенный книзу большой палецъ означалъ желаніе публики, чтобы павшему гладиатору былъ нанесенъ смертельный ударъ. Этотъ жестъ назывался *pollice verso*.

веденія, дѣйствительно, очень счастливая. Въ цѣломъ рядѣ сценъ, относящихся къ различнымъ странамъ и эпохамъ, мы видимъ толпу, преклоняющуюся передъ побѣдителемъ, жестокою къ побѣжденному, всегда готовую рукоплескать его гибели или даже требовать ея. Сначала передъ нами проходитъ римскій циркъ временъ имперіи, бой гладиаторовъ, паденіе одного изъ нихъ и осужденіе его на смерть еще недавно восторгавшимися имъ зрителями. Затѣмъ идетъ бой быковъ въ Мадридѣ; любимому, популярному матадору, «первой шпагѣ Испаніи», не удастся сразу убить быка по всѣмъ законамъ искусства — и его осыпаютъ оскорбленіями, называютъ мясникомъ, убійцей, кидаютъ въ него окурки, апельсинныя корки. Какая-то старуха громко обвиняетъ его въ трусости — и къ ней внимательно прислушивается масса, очевидно раздѣляя ея мнѣніе: «пусть быкъ убьетъ матадора, лишь бы только матадоръ строго держался правилъ!» Третья сцена происходитъ въ Антверпенѣ, въ театрѣ: публика требуетъ отъ директора, чтобы онъ возобновилъ ангажементъ излюбленнаго ею пѣвца, и не хочетъ слушать дебютанта, приглашеннаго на его мѣсто; директоръ настаиваетъ на дебютѣ — и несчастный пѣвецъ, разстроенный и больной, поетъ черезъ силу, терпятъ полнѣйшее фiasco и умираетъ, черезъ нѣсколько дней, отъ воспаленія въ легкяхъ. Наконецъ, дѣйствіе переносится въ Россію, въ наше время. Молодому хирургу, быстро достигшему знаменитости, не удастся операція, отчасти вслѣдствіе ошибки въ діагнозѣ, отчасти по вливію завидующаго ему коллеги: больная умираетъ подъ ножомъ. Въ довершеніе бѣды, операторъ, замѣтивъ устроенную ему ловушку, тутъ же, не окончивъ операціи, даетъ пощечину своему сопернику. За неудачей тотчасъ же слѣдуетъ для доктора рядъ мученій. Мужъ умершей называетъ его убійцей, кидастъ ему подъ ноги деньги, выговоренныя за операцію; въ печати появляются статьи, представляющія все дѣло въ самомъ неблагопріятномъ для него свѣтѣ; пациенты, одинъ за другимъ, оставляютъ его или, понижая цифру вознагражденія, даютъ ему понять, на сколько онъ

упалъ въ ихъ глазахъ; ему предстоитъ оправдываться передъ факультетомъ; даже въ женѣ, которую онъ любитъ, но съ которой у него, въ сущности, мало общаго, онъ не находитъ настоящей поддержки, искренняго и беззавѣтнаго сочувствія и пониманія. Натискъ «враждующихъ судебъ» оказывается ему не по силамъ — и онъ рѣшается на самоубійство. Изъ этихъ четырехъ картинъ (rappeaux, какъ называется ихъ авторъ) одна — третья — плохо вяжется съ цѣлымъ. Дебютантъ — чужой для слушающей его публики; она ничѣмъ ему не обязана, ничѣмъ не связана съ нимъ и имѣетъ полное право выразить ему неодобреніе, разъ что онъ поетъ плохо; о его болѣзни она ничего не знаетъ, да и самая болѣзнь, а слѣдовательно и смерть пѣвца, въ очень развѣ небольшой степени зависить отъ понесенной имъ неудачи. Всѣ остальные сцены, за то, иллюстрируютъ какъ нельзя лучше основную мысль произведенія. Римскій циркъ, мадритская арена изображены рельефно и ярко; безсердечное легкомысліе праздной толпы, совершенно одинаковое на разстояніи многихъ столѣтій, развертывается передъ нами во всѣхъ своихъ фазахъ и отгѣнкахъ, во всѣхъ переходахъ отъ преклоненія передъ успѣхомъ до жестокаго «*vae victis*». Эту же толпу мы узнаемъ, *mutatis mutandis*, и въ обществѣ, такъ быстро отворачивающемся отъ своего недавняго медицинскаго кумира. Говоря словами одной изъ пациентокъ оператора, оно радуется тому, что человѣкъ, считавшійся непогрѣшимымъ, «оплошалъ, сорвался съ пьедестала»; со всѣхъ сторонъ «бѣгутъ смотрѣть, какъ это онъ полетѣлъ». Если бы операція удалась, никто не подумалъ бы поставить ему въ вину пощечину, данную коллегѣ: его дерзость «была бы названа смѣлостью, была бы новымъ лавромъ въ вѣнчѣ его непогрѣшимости, чуть не геройскимъ поступкомъ»; вѣдь «побѣдителей не судятъ». Все это — черты общечеловѣческія, но нигдѣ, можетъ быть, онѣ не обнаруживаются съ такою ясностью, какъ именно въ русскомъ обществѣ. Припомнимъ слова Некрасова: «у русскаго особый взглядъ, преданьямъ рабства страшно вѣреть; всегда побитый виноватъ, а битымъ — счетъ потерянъ...» Не

всегда, конечно, современное *pollice verso* имѣетъ такой трагическій исходъ, какъ въ разсказѣ г. Лугового — но оно никогда не проходитъ безслѣдно для побѣжденныхъ. Не лучше положеніе ихъ и тогда, когда они сами сознаютъ себя не безусловно правыми. Сводя счеты съ своимъ прошедшимъ, докторъ, выведенный на сцену г. Луговымъ, строгъ не только по отношенію къ другимъ; онъ творитъ судъ и надъ самимъ собою — и именно потому такъ суровъ произносимый имъ приговоръ. Страницы, посвященныя этому ретроспективному анализу, принадлежать къ числу самыхъ сильныхъ въ «*Pollice verso*». Онѣ испорчены только длинными выписками изъ Шопенгауера, слова котораго служатъ для доктора послѣдней каплей, переполняющей чашу. Не особенно вѣроятно, чтобы человѣкъ, переживающій предсмертныя муки, сталъ перечитывать сочиненіе философа, котораго онъ считаетъ софистомъ; еще менѣе вѣроятно, чтобы онъ занялся мысленной полемикой съ нимъ («дешевое остроуміе, жонглированіе словами, которое ты, почтенный философъ, порядкомъ-таки любишь») или подробными комментаріями къ нему. Только въ самомъ концѣ, въ описаніи послѣднихъ минутъ передъ самоубійствомъ, художникъ, въ г. Луговомъ, опять беретъ верхъ надъ резонеромъ... Чисто внѣшнею связью соединена со всѣмъ предыдущимъ заключительная глава «*Pollice verso*» — горячо написанная лирическая инвектива противъ *Сплетни*. «Носится по свѣту гнусная тварь. Имя ей — Сплетня. Она родилась отъ матери Славы (?), отцемъ было Безсиліе, Зависть была ея воспріемницей. Нѣтъ у нея цѣли, нѣтъ у ней облика, нѣтъ ей преградъ и предѣловъ. Всюду, гдѣ люди, тамъ и она. То въ легкомъ нарядѣ Шутки, то въ тогѣ негодующей Правды, то подъ знаменемъ Сочувствія, вторгается она всюду, гдѣ ей быть не должно, и всѣ передъ ней разступаются, даютъ ей дорогу, вездѣ бѣгутъ по стопамъ ея обманутые ею безсмысленные люди. И она всюду дѣлаетъ свое дѣло: язвитъ, заражаетъ, несетъ разрушеніе». Все это было бы очень хорошо какъ финалъ картинъ, представляющихъ, въ реальныхъ образахъ разрушительное дѣйствіе сплетни;



но вѣдь вовсе не о ней идетъ рѣчь въ данномъ произведеніи. Не сплетня губила гладіаторовъ въ Римѣ, губить матадоровъ въ Испаніи, отравляетъ жизнь освистаннымъ пѣвцамъ; не сплетня — главная причина гибели доктора. *Pollice verso* — это не шопотъ злорадства, старающагося опорочить, исподтишка, доброе имя: это громкій крикъ стихійнаго инстинкта, жаждущаго сильныхъ ощущеній, это девизъ толпы, терзающей своихъ недавнихъ героевъ, съ любопытствомъ слѣдящей за чужимъ страданіемъ и горемъ.... Ничто не мѣшаетъ, впрочемъ, отдѣлить отъ «*Pollice verso*» г. Лугового три послѣднія страницы и разсматривать ихъ какъ небольшую «сатиру въ прозѣ», не лишенную оригинальности и силы.

Въ «Граняхъ жизни» — единственномъ романѣ, написанномъ г. Луговымъ — отдѣльныя части соединены между собою больше внѣшнею, чѣмъ внутреннею связью. Героиня и герой — Нерамова и Сарматовъ — имѣются на лицо, но къ ихъ исторіи пришито, на скорую руку, много постороннихъ эпизодовъ, да и перемѣны въ нихъ самихъ совершаются, отчасти, по произвольному велѣнію автора. Заурядная эгоистка въ первой части, кандидатка въ камеліи — во второй, потомъ, въ качествѣ модной портнихи, систематическая «грабительница» своихъ кліентокъ, думающая только о себѣ во время своей связи съ Елкинымъ, Лидія Александровна превращается, подъ конецъ, въ самоотверженно любящую женщину и радѣтельница о народѣ. У нея, по крайней мѣрѣ, это превращеніе хоть сколько-нибудь подготовлено заботливостью о ея мастерицахъ и ученицахъ, хотя и болѣе разсудочною, чѣмъ сердечною; но Сарматовъ, еще въ 40 лѣтъ отличавшійся отъ «праздныхъ шелобаевъ» только тѣмъ, что онъ «мыслилъ», а потомъ уставшій и мыслить, также возвышается однимъ скачкомъ до стремленій къ общественному благу и умираетъ ихъ мученикомъ, наканунѣ осуществленія еще болѣе широкихъ плановъ. Все это очень симпатично, но мало правдоподобно; въ рѣчахъ и поступкахъ Нерамовой и Сарматова, послѣ ихъ обновленія, мы слышимъ и видимъ гораздо меньше ихъ самихъ, чѣмъ

автора. Автору, а не Сарматову, принадлежитъ выборъ девиза, завѣщаемаго послѣднимъ своимъ наслѣдникамъ (слова Сентъ-Симона: *«l'âge d'or, qu'une aveugle tradition a placé jusqu'ici dans le passé, est devant nous»*); авторъ, а не Нерамова, рѣшаетъ вопросъ о «такъ называемомъ нравственномъ уровнѣ» въ духѣ Бокля («прочна только та нравственность, которая стоитъ непоколебимо на основахъ разума, и всякое умственное развитие ведетъ къ укрѣпленію нравственности»); авторъ, а не Сарматовъ, мечтаетъ о томъ, «чтобы въ каждой деревнѣ были и столяры, и печники, и кузнецы, умѣющіе работать не только грубо, по кустарному, но съ приѣмами доступными наиболѣе цивилизованному европейцу». Въ «Граняхъ жизни» болѣе чѣмъ гдѣ бы то ни было выступаетъ на видъ наклонность г. Лугового къ роли проповѣдника или лектора, какимъ мы его уже видѣли въ «Озимии» и «Между двухъ смутныхъ идеаловъ». Ему приходитъ на мысль, напримѣръ, подѣлиться съ читателями своими взглядами на ревность—и вотъ, онъ не только заставляетъ Нерамову ревновать Сарматова къ княжнѣ, Сарматова — Нерамову къ Черкалову, чтобы создать положенія, могущія иллюстрировать эти взгляды, но и влагаетъ въ уста Сарматова цѣлые монологи, которыми тотъ убѣждаетъ себя, что ревновать не слѣдуетъ. Отсюда изобиліе разсужденій, до крайности замедляющихъ движеніе. Иногда они подтверждаются цѣлымъ рядомъ историческихъ данныхъ и такъ называемыхъ (выраженіе Ауербаха) *gelehrte Curiositäten* (стр. 95 — 104), иногда — анекдотами и выписками изъ газетныхъ объявленій (стр. 107, 109), иногда — цитатами изъ какой-то Французской брошюры (стр. 469 — 471). Ближе подходятъ къ разсказу мысли о модахъ, о значеніи костюма (стр. 185, 220—222, 255, 496), такъ какъ онѣ непосредственно отражаются на дѣятельности Нерамовой; но и тутъ *намыреніе* автора просвѣчиваетъ слишкомъ сильно и подчеркивается слишкомъ настойчиво. *Man merkt die Absicht und man ist verstimmt*, тѣмъ болѣе, что и самый тезисъ, проводимый авторомъ, принадлежитъ — подобно теоріи объ «озимии» — къ числу весьма спор-

ныхъ и сравнительно неважныхъ. Попадаются, вслѣдствіе этого, страницы, написанныя, повидимому, совершенно серьезно, но вызывающія вовсе не серьезное настроеніе. «Обдумывая, какого цвѣта взять матерію на платье» — читаемъ мы, напримѣръ, на стр. 255, — «Лидія Александровна и здѣсь не хотѣла подчиняться господствовавшей модѣ. Наше время — время господства золота, думаетъ она; это должно будетъ отразиться модой на желтый цвѣтъ. Что еще? Пессимизмъ? Черное. Еще? Стремленіе къ загробному, таинственному... Что жъ, развѣ бѣлое?» (почему, однако, бѣлое, а не черное или сѣрое?). Руководствуясь такими соображеніями, Лидія Александровна беретъ «тончайшій *cèdre de Chine maïs*, чехоль изъ дорогой skóry оттѣнка *vieil or*, черную ленту, оживленную двумя узкими полосками бѣлой» — и составляетъ изъ всего этого, по образцу костюма *madame Рекамье* (временъ директоріи), платье — для кого? Для пустынькой танцовщицы, едва ли слыхавшей слово *пессимизмъ* и знакомой съ таинственностью развѣ въ образѣ лѣшаго или домового. Выходить немножко смѣшно, между тѣмъ какъ авторъ едва ли имѣлъ въ виду разсмѣшить читателей... Между сценами и лицами, играющими въ «Граняхъ жизни» роль аксесуаровъ, нѣкоторыя интересны сами по себѣ, и это служить для нихъ своего рода *raison d'être*: таковы картины жизни въ швейныхъ мастерскихъ, таковы фигуры заказчицъ (Тюрина, Ельцова), такова сантиментальная Лялечка или фрондирующая Петрова. Ко многимъ другимъ деталямъ непримѣнимо и это оправданіе. Совершенно ненуженъ, напримѣръ, эпизодъ убійства Саши; совершенно ненужны брать и тетка Лидія Александровны; непзвѣстно почему и зачѣмъ появляется, подъ концемъ романа, княжна Сухорѣцкая... Намъ кажется, что въ «Граняхъ жизни» нарушено драгоценное правило: *non multa, sed multum*. Теоретическія воззрѣнія самого автора, его надежды, его мечты, поразившіе его своей оригинальностью чужіе взгляды, наблюденія, сдѣланные имъ въ разныхъ сферахъ общественной жизни, заинтересовавшія его лица — все это здѣсь соединено, но не слито въ одно гармониче-

ское цѣлое. Подавляющимъ обиліемъ матеріала затемняется основная мысль романа, выраженная, повидимому, въ слѣдующихъ словахъ Сарматова (сказанныхъ на фабрикѣ, при видѣ старика-гравёра — «ветхаго деньми Сатурна»), — подъ рукой котораго на поверхности хрустальной чаши появляются все новыя *грани* и новыя узоры): «такъ жизнь человѣка въ рукахъ Сатурна, какъ чаша въ рукахъ гравёра. И въ нашемъ сердцѣ время проводить *грани за гранями*, и чѣмъ ихъ больше, чѣмъ онѣ тоньше, тѣмъ драгоценнѣе чаша жизни. Но грани — предѣлы. Немножко въ сторону, немножко за грань, и красота нарушена; немножко глубже, чѣмъ слѣдуетъ — и, *оумсто грани, трещина*. Перекрещиваются между собою тысячи граней, и звонкая чаша горитъ алмазами; нѣсколько трещинъ на ней — и она разбита». Въ жизни Нерамовой, да и Сарматова, нѣкоторыя *грани* безъ сомнѣнія имѣли характеръ *трещинъ*; въ глазахъ автора, однако, и та, и другая все больше и больше «горитъ алмазами», звучитъ все чище и чище... Самое опредѣленіе «граней жизни» несвободно отъ неточностей и противорѣчій. Борозды, проводимыя въ насъ временемъ, далеко не всегда имѣютъ значеніе *предѣловъ*; онѣ ложатся, сплошь и рядомъ, одна подлѣ другой или даже одна на другую. Драгоценнѣе «чаша жизни» становятся скорѣе отъ «глубокихъ», чѣмъ отъ «тонкихъ» граней...

Общее заключеніе изъ всего сказаннаго нами вытекаетъ само собою. При всѣхъ отдѣльныхъ достоинствахъ сочиненій г. Лугового, они не принадлежатъ къ числу тѣхъ, которыя — говоря его словами — проводятъ замѣтную *грань въ чашѣ* литературной жизни.



## III.

## Разборъ книги г. К. Случевского —

«Историческія картинки. — Разные рассказы» (Изд. 2-е, значительно дополненное, СПб. 1894 г.),

составленный Влад. Серг. Соловьевымъ.

---

Книга г. Случевского весьма замѣчательна разнообразіемъ своего содержанія. Жизнь до-историческая, міръ древне-греческій, евангельская исторія и эпоха мучениковъ, средніе вѣка во Франціи и въ Италіи, введеніе христіанства въ Россіи, эпоха Возрожденія, Московская Русь, жизнь итальянскихъ художниковъ новаго времени, эпоха Императрицы Екатерины II, древніе миѣы Восточной Азіи и современная миѣологія мурманскихъ поморовъ, міръ дѣтей и міръ военныхъ, древній Вавилонъ и современная финская деревня, Петербургскій свѣтъ и міръ провинціальныхъ чудаковъ — вотъ области, мимолетно освѣщаемыя фантазіею г. Случевского. Сверхъ того нашъ авторъ счелъ нужнымъ прибавить отъ себя къ Донъ-Кихоту Сервантеса новую главу, а также дополнить сказки 1001 ночи еще одною, тысяча-второю ночью.

К. К. Случевскій писатель заслуженный. Болѣе 30 лѣтъ тому назадъ онъ обратилъ на себя вниманіе литературныхъ круговъ какъ начинающій стихотворецъ. Его стихотворенія (собранныя теперь въ четырехъ книжкахъ), при несомнѣнномъ ли-

рическомъ дарованіи, показываютъ недостаточно критическое отношеніе автора къ своему вдохновенію, и едвали у какого другого поэта рядомъ съ истинно прекрасными произведеніями, можно найти такія и столькія странности, какъ у г. Случевскаго. И проза его пострадала отъ того же недостатка критики, хотя, быть можетъ, и въ меньшей степени. Особенно чувствуется этотъ недостатокъ въ тѣхъ случаяхъ, когда описаніе или повѣствованіе прерывается разсужденіями или замѣчаніями автора, который при этомъ слишкомъ часто забываетъ, что не всякая мысль, мелькнувшая въ головѣ человѣка, заслуживаетъ быть запечатлѣнною литературнымъ выраженіемъ. Примѣры печальныхъ послѣдствій такого забвенія будутъ представлены ниже.

Если бы г. Случевскій, вмѣсто того, чтобы обращать свою разсудочную способность на лица и событія, о которыхъ онъ разсказываетъ — и которыя должны бы говорить сами за себя, — пользовался ею для литературной критики собственныхъ своихъ произведеній, то они отъ этого выиграли бы вдвойнѣ. — Впрочемъ, то обстоятельство, что нашъ авторъ безъ всякихъ критическихъ задержекъ изливаетъ свою душу въ своихъ писаніяхъ, имѣетъ и хорошую сторону, сохраняя за этими писаніями тонъ какого-то своеобразнаго простодушія, составляющій ихъ отличительную особенность. Въ нихъ всегда есть что-то свое, и г. Случевскій, не будучи, быть можетъ, писателемъ образцовымъ, есть, во всякомъ случаѣ, одинъ изъ оригинальнѣйшихъ русскихъ писателей.

Въ книгѣ, подлежащей моему разбору, самое лучшее собрано въ концѣ, въ трехъ отдѣлахъ: «Мурманскіе очерки», «изъ свѣтской жизни», «сцены и наброски».

«Мурманскіе очерки» почти безукоризненны, и можно пожалѣть лишь о томъ, что они составляютъ такую малую часть всей книги. И природа, и людской бытъ нашей полярной окраины, гдѣ тяжелыя климатическія условія не только не придавили русскаго человѣка, а, напротивъ, вызвали къ проявленію лучшія

стороны его характера, представлены г. Случевскимъ очень живо и просто. Онъ здѣсь почти вовсе не разсуждаетъ, а только описываетъ и рассказываетъ. Свой языкъ онъ очень удачно и въ мѣру обогащаетъ выразительными словами мѣстнаго поморскаго нарѣчія. Повидимому, онъ не замѣчаетъ, однако, что между этими словами есть иностранныя. Живое народное творчество въ области языка настолько увѣрено въ своей силѣ, что нисколько не боится заимствованій и даже иногда щеголяетъ ими безъ всякой надобности. Какъ-бы, казалось, не имѣть своего русскаго слова для обозначенія *лодки*, той самой лодки, которая для поморовъ служитъ главнымъ условіемъ пропитанія, а на добрую треть года и жилищемъ? Между тѣмъ они какъ и родоначальники ихъ, Новгородцы, называютъ свои лодки *иняками* — любопытное воспоминаніе о тѣхъ норвежскихъ ладьяхъ съ головами и хвостами драконовъ и змѣй (снэки, нѣм. *schnecke*, англійское *snake*), которыя нѣкогда наводили ужасъ на всю Европу. Любопытно также, что поморы, живущіе болѣе чисто, чѣмъ большинство русскаго крестьянства, *мыло* называютъ по норвежски — *сайна*. Зато какое великолѣпное слово *бѣзымень* для обозначенія безформенныхъ привидѣній, того, что нѣмцы выражаютъ безличнымъ глаголомъ *es spukt*. Можно подосадовать на автора, что онъ своими стремительными вопросами съ неумѣстнымъ требованіемъ опредѣленныхъ отвѣтовъ помѣшалъ помору Степану разсказать по-своему про эту «бѣзымень».

Послѣ «Мурманскихъ очерковъ» слѣдуетъ похвалить нѣкоторые разсказы «изъ свѣтской жизни» и нѣкоторые изъ «сценъ и набросковъ». Вообще, при достаточно тонкой наблюдательности нашъ авторъ обладаетъ душевною чувствительностью, и когда ему приходится отзываться на «впечатлѣнныя бытія» не очень сложные, затрагивающія въ его сердцѣ лирическія струны, ему удается создавать произведенія съ истиннымъ художественнымъ достоинствомъ. Очень поэтиченъ разсказъ «Два тура вальса — двѣ елки» — на извѣстный мотивъ о невысказанныхъ чувствахъ: «*Sie liebten sich beide, doch keiner wollt' es dem andern gestehn*».

Хороши также: «Случай», «Воскресшіе», «Завянетъ ли?» Передавать содержаніе этихъ прекрасныхъ маленькихъ вещицъ или подвергать ихъ подробному разбору было бы неумѣстно. Отмѣтимъ только, что нашъ авторъ обнаруживаетъ здѣсь въ извѣстной мѣрѣ цѣнную способность — воспринимать неувидимыя тѣни предметовъ, отношенія ничѣмъ осязательнымъ не сказывающіяся, лишеныя воплощенія, однако существующія. Безъ сомнѣнія, это есть самое лучшее изъ тѣхъ свойствъ г. Случевского, отъ которыхъ зависитъ своеобразность его литературнаго облика.

Разсказы подъ двумя рубриками «Типы» и «Фантазія» отличаются главнымъ образомъ оригинальностью сюжетовъ. Въ разсказѣ «Капитанъ и его лошадь» изображенъ отставной военный, поселившійся въ степномъ хуторѣ и лучшую часть своего помѣщенія отдавшій своей лошади изъ дружбы и признательности къ ней. По словамъ ямщика, «она у него первый человѣкъ въ домѣ, ей всякая почестъ». Этимъ указаніемъ авторъ могъ бы собственноручно и ограничиться, такъ какъ ничего болѣе интереснаго далѣе мы не узнаемъ. Замѣчательно только вступленіе къ разсказу, гдѣ, между прочимъ, встрѣчается такой періодъ: «довольно вѣрна примѣта, на основаніи которой можете вы разсчитывать на успѣхъ вашего желанія разспросить, а именно: подобно тому, какъ горный инженеръ по нѣкоторымъ особенностямъ почвы, по ея обнаженности, даже по характеру растительности опредѣляетъ иногда то мѣсто, на которомъ надо производить изысканія, весьма вѣрно, что съ разспросами надо обращаться преимущественно къ людямъ молчаливымъ, держащимся въ сторонѣ, особнякомъ».

Счастливый контрастъ съ подобными разсужденіями у г. Случевского составляютъ описанія и въ особенности разговоры, изложенные живымъ, естественнымъ языкомъ, иногда съ примѣсью легкаго юмора. Очень хороша въ своемъ родѣ безпритязательная сатирическая картинка «Два Сидоровыхъ». Два уѣздныхъ обывателя однофамильца: «одинъ въ фуражкѣ съ крас-



нымъ околышемъ, другой безъ фуражки и безъ волосъ» сошлись на желѣзнодорожномъ вокзалѣ. Одинъ собирается ѣхать въ Петербургъ, другой въ Памиръ, и спорять о томъ, гдѣ лучше. «Околышекъ слушалъ лысину и какъ она за Петербургъ ратовала — и насупился.

«Все это правда, сказалъ, наконецъ, околышекъ, да свѣжести-то тамъ нѣтъ, первобытности, непосредственности нѣтъ. Въ Памирѣ, по крайней мѣрѣ, аулъ сожжешь или китайца убьешь, — это все-таки свѣжесть, подвигъ, какой ни на есть, а все подвигъ. А въ Петербургѣ кого убьешь?

Но «лысина» не уступала, находя, что Петербургъ имѣетъ свои преимущества: «... въ Петербургѣ эти Аркадіи и Акваріумы, эти женщины, жаждущія любви. Нѣтъ, ты подумай только, что это за женщины! И сколько ихъ, и сравни съ тѣми, что у насъ подъ рукой! Жена уѣзднаго начальника — это одно; жена священника — это другое; потомъ эта съ картофельнымъ носомъ, вдова; потомъ двѣ дочери станціоннаго смотрителя.... Ёдемъ, братецъ, вмѣстѣ.

— Нѣтъ, я въ Памиръ.

Споръ рѣшаетъ третье лицо — проѣзжіи петербургскій чиновникъ, отправляющійся въ Черниговскую губернію заниматься статистикой, въ сопровожденіи дамы легкаго поведенія. Онъ убѣждаетъ Сидоровыхъ, что настоящее дѣло и настоящая жизнь въ провинціи. Впрочемъ, они и такъ должны бы были остаться на мѣстѣ, за неимѣніемъ денегъ на какую-бы то ни было поѣздку.

Разсказы «Бабушкины пузыри», «Человѣкъ и картонъ», «Ищутъ клоуновъ», «Новый Дулькамара», «Воображающіе» хотя очень оригинальны по темамъ и очень малы по объему, не производятъ, однако, необходимаго при такихъ размѣрахъ впечатлѣнія легкости. Это происходитъ, надо полагать, отъ того, что авторъ не далъ опредѣленнаго литературнаго характера своей работѣ. Выбранные имъ странные сюжеты слѣдовало или развить въ серьезные этюды, или рассказать просто анекдотически. Но г. Случевскій остановился на полдорогѣ между анекдотомъ

и психологическою повѣстью, вслѣдствіе чего получается впечатлѣніе чего-то не то недосказаннаго, не то растянутаго и лишняго.

Изъ отдѣла «Фантазій» наиболѣе удачною со стороны художественности должна быть признана «Альгоя — поэтическая сказка изъ южно-сибирскихъ преданій. Повидимому, здѣсь случайно соединены два различныхъ сказанія — одно о гибели какой-то доисторической цивилизаціи, — развратнаго города въ родѣ Содома и Гоморры, — и другое, чисто мифологическое, о похищеніяхъ богини цвѣтовъ. Между этими двумя сюжетами нѣтъ внутренней связи, что вредитъ общему впечатлѣнію. — Разсказъ «Оеклуша» былъ бы хорошъ, еслибы не былъ испорченъ авторомъ. Ему удалось немногими живыми чертами создать образъ забитой полу-русской, полу-финской крѣстьянки, сохраняющей въ своей забитости и человѣчность, и женственность, чего казалось бы совершенно довольно для маленькаго разсказа, но несчастная мысль придѣлать къ этому образу историческія похищенія души древняго Вавилонянина привели къ послѣдствіямъ по-истинѣ плачевнымъ.

«Оеклуша, хотя это совершенно невѣроятно, была потомкомъ одного изъ тѣхъ ветхозавѣтныхъ людей, что строили вавилонскій столбъ. Когда Господь, въ справедливомъ гнѣвѣ Своемъ, разрушилъ дерзкое и нечестивое человѣческое предпріятіе, постройку вавилонскаго столба, то проклиналъ Онъ всѣхъ участвовавшихъ въ постройкѣ, повелѣвъ имъ скитаться до окончанія вѣка и не имѣть входа ни въ адъ, ни въ рай, ни въ чистилище. Слова Бога не прошли даромъ: поумирали одинъ за другимъ строители, и безпокойныя души ихъ начали скитаться въ подлунной». Во-первыхъ, почему авторъ находитъ невѣроятнымъ, что его Оеклуша происходитъ отъ одного изъ строителей вавилонскаго столба? Вѣдь и самъ г. Случевскій, и всѣ мы ведемъ свой родъ оттуда же, ибо по библейскому сказанію (которое здѣсь имѣется въ виду) созданіе вавилонской башни было дѣломъ родоначальниковъ всего послѣпотопнаго человѣче-

ства, составлявшихъ тогда одинъ народъ и одинъ языкъ, и лишь послѣдствіемъ этого предпріятія, или наказаніемъ за него, явилось раздѣленіе языковъ и разсѣяніе народовъ по различнымъ странамъ. Если нашъ авторъ счелъ нужнымъ касаться этого библейскаго преданія, то ему слѣдовало, по крайней мѣрѣ, справиться съ XI главой книги Бытія. Это удержало бы его и отъ сочиненія небывалыхъ проклятій, которыя онъ съ прискорбною смѣлостью приписываетъ Самому Господу Богу.

«Одна изъ этихъ душъ, читаемъ далѣе, урожденная вавилонянка, принадлежала нѣкогда бородатому родичу тѣхъ знаменитыхъ до-историческихъ халдейскихъ волхвовъ, которые почти присутствовали при потопѣ и писали на тѣхъ пергаментахъ, кусочки которыхъ дошли до насъ въ твореніяхъ Верозія». Ну ужъ и дошли! Иной довѣрчивый читатель подумаетъ въ самомъ дѣлѣ, что г. Случевскій видѣлъ своими глазами какіе-то кусочки пергамента, которые нѣкій «Верозій» пришивалъ или приклеивалъ къ своимъ «твореніямъ». Отъ этихъ твореній «кусочки» до насъ дошли въ позднѣйшихъ цитатахъ, но отъ древне-халдейскихъ пергаментовъ не дошло ничего, да и не могло dojти, по той простой причинѣ, что такихъ пергаментовъ вовсе не существовало, ибо халдеи не только въ до-историческія, но и въ историческія времена писали, какъ извѣстно, не на пергаментахъ, а на кирпичачъ.

«Рожденная въ плодотворной Месопотаміи, такъ красиво и ярко описанной Геродотомъ, огненная и жгучая по природѣ, какъ пески степей, окружавшихъ ея родину, подвижная и сильная, какъ вѣтеръ пустыни»... *Всякій вѣтеръ есть движеніе воздуха*, а потому г. Случевскій напрасно полагаетъ, что подвижность есть признакъ сколько-нибудь характерный для вѣтра пустыни; сильнымъ вѣтеръ бываетъ тоже независимо отъ мѣста.

.... «душа — вавилонянка, покинувъ брѣнное тѣло, стала скитаться по бѣлому свѣту. Незримая и неуловимая, побывала она вездѣ, — и вздумалось бѣдной проклятой душѣ отъ безконечной грусти, несомнѣнно присущей безконечной свободѣ и ни-

чего-недѣланію, создать себѣ какое-нибудь дѣло. Это оказалось не легко». . . . «Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить, что душѣ, для непосредственнаго участія въ жизни, не хватало простого знанія языковъ!» . . . «Какимъ способомъ могла бы она оспилить жаргонъ гастонца (sic) или бердичевского еврея? Теперь, въ наши дни, конечно, работа эта оказалась бы легче и возможнѣе послѣ появленія сравнительныхъ грамматикъ и трудовъ Буслаева, Боппа, Макса Миллера и другихъ». Безъ сомнѣнія, *гастонецъ* есть опечатка, но координація «сравнительныхъ грамматикъ» и «трудовъ» остается на отвѣтственности автора.

Не предвидя появленія сравнительной грамматики гастонскаго и бердичевского языковъ, вавилонская героиня г. Случевского рѣшается вмѣсто лингвистики заняться исторіей, а именно, слѣдить за измѣняющимися судьбами своего рода.

«Удивительныя вещи могла бы разсказать душа о подвижности и запутанности всякихъ семейныхъ и родовыхъ отношеній, о томъ, кто и какъ является кажущимся или настоящимъ отцомъ или матерью, о томъ, какъ мало правды во всѣхъ разсчетахъ жизни, и какое громадное значеніе имѣютъ въ жизни и исторіи случаи и мелочи. Въ этомъ отношеніи между душою — вавилонянкою и научными доказательствами англичанина Бокля выяснилась бы значительная связь».

Послѣ этого замѣчанія, болѣе неожиданнаго, чѣмъ понятнаго, авторъ переходитъ къ изложенію событій.

«Занимая довольно видныя и очень доходныя мѣста въ царствахъ старо- и ново-вавилонскихъ, родъ нашей души удержался на этой высотѣ и ко времени знаменитаго Персидскаго царя Кира. Только къ третьему вѣку до Христа очень раннее и таинственное исканіе чего-то лучшаго въ жизни сокрушило этотъ родъ: члены его стали дружить съ жившими тогда во множествѣ въ Персидской монархіи греками; они, якобы во имя спасенія своего отечества, Персію, отъ тираніи своихъ родныхъ властителей, поклонились восходившей тогда греческой звѣздѣ Алексан-



дра Македонскаго, за что и принуждены были покинуть Персію и переселиться къ мудрымъ египетскимъ Птоломеямъ. Переменна климата, грусть по родинѣ, а также и другія чисто физиологическія причины повліяли на то, что въ Египтѣ родъ этотъ сильно захирѣлъ». Все это разсказано совершенно напрасно, такъ какъ ничего этого не было, а — главное, и быть не могло. Начать съ того, что «звѣзда Александра Македонскаго» не только всходила, но и зашла не въ III-емъ, а въ IV-омъ вѣкѣ до Р. Х. (умеръ въ 323 г.). Далѣе, г. Случевскій забылъ, что быстрый восходъ этой звѣзды состоялъ не въ чемъ иномъ, какъ въ покореніи Персидскаго царства, а потому Персидскимъ приверженцамъ Александра Македонскаго не зачѣмъ было переселяться изъ Персіи, — имъ оставалось только торжествовать побѣду. Наконецъ, какимъ образомъ могъ кто-нибудь при «восходящей звѣздѣ Александра Македонскаго» переселиться къ мудрымъ египетскимъ Птоломеямъ, когда эта династія воцарилась въ Египтѣ лишь послѣ смерти Александра, вслѣдствіе раздѣла его царства?

Изъ Египта единственный живучій отпрыскъ халдейскаго рода попалъ въ Германію. «Душа-родоначальница не уставала слѣдить за нимъ. Она привыкла къ жизни странницы, и эта жизнь нравилась ей. Но съ переходомъ въ Германію душѣ стало какъ-то неловко. Все, что знала она до сихъ поръ, все это не имѣло ничего общаго съ германскимъ міровоззрѣніемъ. Прежде всего пришлось душѣ заняться изученіемъ нѣмецкаго языка! Къ счастью, заведеніе, открытое Карломъ Великимъ въ Ахенѣ, помогло ей въ этомъ дѣлѣ; гнѣздясь подъ арками знаменитой *schola Palatina*, она вытверживала склоненія и спряженія новаго для нея говора и совершенно чуждыхъ формъ его, и кое-какъ научилась ему». Удивительно, что халдейская душа могла кое-какъ научиться нѣмецкому языку даже въ такой школѣ, въ которой его никогда не преподавали. . . . Странное дѣло! Латинское названіе знаменитаго ахенскаго «заведенія» г. Случевскій сообщаетъ, а какого языка была эта школа не догадывается, преспо-

койно воображая, что тамъ занимались склоненіемъ *der, die, das*.

Не слѣдуя за г. Случевскимъ въ его дальнѣйшихъ историческихъ воспоминаніяхъ, замѣтимъ только, что и о ближайшей современности онъ сообщаетъ иногда свѣдѣнія столь же неточныя, какъ и о временахъ минувшихъ. Едва-ли, напримѣръ, существуетъ въ Россіи такой окружной судъ, въ которомъ послѣ засѣданія по дѣлу объ истязаніи жены мужемъ «рѣшили, и такъ это впослѣдствіе пропечатали, что такъ какъ мужъ и жена одно и то-же, то и оскорбленія чести между ними быть не можетъ».

Главный недостатокъ нашего автора — его противохудожественная склонность къ безконтрольнымъ разсужденіямъ — особенно вредить ему въ отдѣлѣ «историческихъ картинокъ», ибо здѣсь менѣе всего умѣстно появленіе литературнаго «я» съ его случайною рефлексіей среди образовъ, вдвойнѣ отекапенныхъ исторіей и искусствомъ. Средневѣковые художники имѣли обыкновеніе на своихъ картинахъ или скульптурныхъ группахъ помѣщать свое собственное изображеніе. Это нисколько не портитъ дѣла, потому что скромно стоявшая на колѣняхъ въ какомъ-нибудь углу фигура художника по духу и стилю гармонировала съ идеей самого произведенія. Но еслибы на исторической картинѣ изъ древней жизни, изъ среднихъ вѣковъ или изъ эпохи Возрожденія, написанной современнымъ русскимъ художникомъ, былъ помѣщенъ на самомъ видномъ мѣстѣ, заслоняя все прочее, портретъ автора въ сюртукѣ или вѣщъ-мундирѣ, указывающаго обѣими руками на созданные имъ образы, то такимъ дополненіемъ, конечно, было-бы испорчено даже гениальное произведеніе.

Очеркъ «На мѣсто!» есть самый интересный по замыслу между историческими картинками г. Случевского. Итальянскій художникъ эпохи Возрожденія съ природнымъ талантомъ къ миниатюрной живописи, мучимый чрезмѣрнымъ честолюбіемъ, хочетъ соперничать съ великанами искусства и пишетъ на биб-

лейскіе и классическіе сюжеты огромные холсты, не имѣющіе никакого достоинства. Въ настойчивой и безуспѣшной погонѣ за славою онъ мимоходомъ губить любящую его женщину и только подь конецъ жизни, когда ему уже ничего не нужно, приходитъ къ самопознанію и нравственному возрожденію. Какой прекрасный сюжетъ, и какимъ поучительнымъ произведеніемъ обогатилъ-бы почтенный авторъ нашу литературу, еслибы какъ слѣдуетъ сосредоточился на художественномъ исполненіи своего замысла, а таланта для такого исполненія у него навѣрное-бы хватило. Но несчастная невнимательность къ характеру своего дарованія и предѣламъ своего призванія — особенность, отчасти сближающая г. Случевского съ его героемъ — испортила все дѣло. Неправильно понимая задачу «исторической картинки», онъ раздѣлилъ свой холстъ на двѣ половины: на одной набросано нѣсколько фигуръ и положеній, болѣе или менѣе удачно воплощающихъ идею разсказа, а вся другая половина картины занята каедрой, съ которой г. Случевскій читаетъ намъ такой урокъ изъ исторіи:

«Въ то время во Флоренціи, богатѣйшей республикѣ міра, герцогствовали знаменитые Медичи, бывшіе банкиры, и надъ Италіею загорался въ полномъ блескѣ несравненный вѣкъ Возрожденія. Это шестнадцатый вѣкъ послѣ Христа». Почему-же, однако, шестнадцатый? Въ Италіи Возрожденіе загоралось гораздо раньше; развѣ Чимабуэ и Джотто были современниками Медичисовъ, развѣ Данте и Петрарка писали въ XVI вѣкѣ? Въ дальнѣйшемъ своемъ обзорѣ самъ г. Случевскій возвращается отъ XVI вѣка къ болѣе раннимъ временамъ, но и тутъ онъ не обходится безъ ошибки, относя Коло ди-Ріензи къ XIV вѣку.

«Еще учитель Данте, читаемъ далѣе, былъ составителемъ энциклопедіи наукъ, а появленіе подобной энциклопедіи Дидро во Франціи обозначало, какъ извѣстно, время первой революціи». Подъ учителемъ Данте г. Случевскій разумѣетъ, очевидно, Брунетто Латини, которому, хотя и ошибочно, приписывалось это значеніе, но причемъ тутъ Дидро и энциклопедія XVIII

вѣка? Неужели нашъ авторъ думаетъ, что «сокровище» Брунетто Латини было составлено въ духѣ французскихъ энциклопедистовъ?

«Никогда вполне недремавшая любовь къ наукѣ, гражданственности и свободѣ начинаетъ проявляться съ особенною силою: «uomo singolare» выдвигается изъ толпы и побѣждаетъ ее окончательно.

«Отъ всего этого очень близко къ исканію славы, къ поклоненію гробницамъ великихъ людей, къ триумфамъ. Флоренція требуетъ отъ Равенны прахъ Данте; Александръ VI Борджіа съ высоты престола намѣстника Христова высматриваетъ своихъ любовницъ, задумываетъ убійства и планы міровой монархіи; Юлій II опоясывается мечемъ, осаждастъ крѣпости, даетъ сраженія» . . . . Совершенно непонятно, почему «высматриваніе» любовницъ и осада крѣпостей приравняются здѣсь, къ поклоненію гробницамъ великихъ людей.

«Исчезли мрачныя рѣшетки, бойницы и подъемные мосты многихъ городскихъ зданій, еще недавно служившихъ крѣпостцами, — исчезли они съ первымъ дымомъ пушки и щелкнувшего арбалета, исчезли, какъ привидѣнія передъ ширью, красотою и правдою дѣйствительной жизни». Выходитъ, что бойницы и подъемные мосты не принадлежатъ къ дѣйствительной жизни, а пушки и арбалеты принадлежатъ. Непонятно также, что общаго у этого оружія съ красотою и правдою: древнее вооруженіе было красивѣе, да и правды, пожалуй, у старыхъ рыцарей было больше, чѣмъ у итальянскихъ кондотьері переходной эпохи.

Свой длинный урокъ исторіи г. Случевскій дополняетъ маленькимъ урокомъ морали: «Слезъ въ глазахъ и на сердцѣ недостаточно для того, чтобы сдѣлать великимъ то или другое свое художественное созданіе; самолюбіе не творчество; поспѣшность не залогъ успѣха; обѣщаніе не исполненіе». Вотъ это совершенно справедливо!

Въ «Исчезнушемъ сверткѣ» разсказывается пзвѣстный поступокъ графа Алексѣя Григорьевича Разумовскаго, который



сжегъ документы о своемъ тайномъ бракѣ съ Императрицею Елизаветою Петровной. Въ этомъ разсказѣ г. Случевскому почти удалось сохранить историческій стиль, и только въ двухъ мѣстахъ вниманіе читателя развлекается указательнымъ пальцемъ автора.

Крайне неудаченъ по мысли и по исполненію разсказъ изъ евангельской исторіи «Великіе дни». Безъ сомнѣнія г. Случевскій, рѣшаясь писать разсказъ изъ евангельской исторіи, имѣлъ самыя лучшія намѣренія и менѣе всего желалъ оскорбить чье-нибудь религіозное чувство. О священныхъ лицахъ онъ говоритъ тономъ искренняго благоговѣнія, и нигдѣ не видно чтобы онъ сомнѣвался въ полной дѣйствительности и великомъ значеніи описываемыхъ имъ событій. Но этого еще мало. Въ отношеніи къ извѣстнымъ предметамъ серьезный писатель обязанъ принимать мѣры предосторожности и противъ *невольныхъ* грѣховъ съ своей стороны. Самая лучшая и общедоступная изъ предупредительныхъ мѣръ состоитъ здѣсь въ томъ, чтобы вовсе не браться за такія темы, если не имѣешь особаго призванія и подготовки къ этому дѣлу и не смотришь на него, какъ на главную задачу своей жизни.

Г. Случевскій не принялъ этой необходимой предупредительной мѣры противъ невольныхъ грѣховъ, и вотъ какъ-бы въ наказаніе за это всѣ отличительные недостатки его произведеній: невыдержанность тона, нетвердость историческаго стиля, склонность къ неумѣстнымъ и необдуманымъ замѣчаніямъ, неясность мыслей и небрежность языка, — все это въ усиленной степени, какъ-бы на показъ, соединилось въ его очеркѣ изъ евангельской исторіи. А между тѣмъ какъ легко было замѣтить всю ненужность этого разсказа! Для исторіи земной жизни Христа не существуетъ никакихъ другихъ настоящихъ источниковъ кромѣ нашихъ всѣмъ доступныхъ и всѣмъ извѣстныхъ евангелій, а въ нихъ эта исторія изложена какъ нельзя лучше, съ истинною художественною простотою и объективностью. Но вотъ въ какомъ стилѣ г. Случевскій дополняетъ евангелія:

«По узкимъ улицамъ, въ особенности по направленію къ Голгоѣ, толпа въ тѣ часы дня была какъ бы неподвижна, потому что перемѣщеніе въ ней *отдѣльныхъ личностей* (!) не двигало ея. Большинство, какъ объясняетъ евангелистъ Лука, были женщины». Въ тотъ историческій моментъ, который изображается авторомъ, Лука еще не былъ евангелистомъ и ничего не объяснялъ, — зачѣмъ же о немъ упомянуто? Когда пишется историческая картина, а не трактатъ или изслѣдованіе, то нужно описывать прямо то, что происходило, то, что читатель видѣлъ бы своими глазами, еслибы былъ перенесенъ въ то мѣсто и въ тотъ моментъ. А когда вмѣсто этого авторъ сажаетъ читателя за свой письменный столъ и начинаетъ передъ нимъ перелистывать свою записную книжку, то въ замѣнъ эстетическаго удовольствія онъ можетъ вызвать только справедливую досаду.

Къ этому досадному противохудожественному приему г. Случевскій прибѣгаетъ во все продолженіе своего разсказа, до самаго его конца. «Изъ евангелій несомнѣнно извѣстно, сообщаетъ онъ намъ, чтó, какъ и въ какой послѣдовательности происходило, но въ тѣ заповѣдныя (?) дни никто не зналъ ничего полностью (!)». «По словамъ Матѳея, говоритъ въ другомъ мѣстѣ г. Случевскій, Спаситель воскресъ на разсвѣтѣ перваго дня недѣли; по Марку, по прошествіи субботы... весьма рано; Лука повѣствуетъ, что воскресеніе послѣдовало въ первый же день недѣли, очень рано; согласно Іоанну, когда было еще темно».

«Евангелистъ Лука, читаемъ далѣе, очень подробно повѣствуетъ о томъ, какъ въ третій день по смерти Спасителя двое изъ Его учениковъ шли въ Еммаусъ и разговаривали о событіяхъ дня», и затѣмъ на двухъ страницахъ г. Случевскій своими словами воспроизводитъ этотъ разсказъ, вставляя отъ себя замѣчанія такого рода: «Изъ подробностей бесѣды, изъ объясненія Спасителемъ «всего писанія» необходимо заключить о продолжительности явленія, о томъ, что онъ шелъ съ учениками долго. Евангелистъ не говоритъ о томъ, видѣли ли Его, какъ третьяго

путника, встрѣчные люди, которыхъ въ этотъ вечеръ *имѣлось* много?» Въ этомъ случаѣ нашъ авторъ ограничивается указаніемъ того, о чемъ не говорятъ евангелисты, въ другихъ случаяхъ въ изложеніе евангельскихъ событій онъ вставляетъ подробности собственнаго сочиненія, чѣмъ, конечно, только отгѣняется несравненная правдивость и художественность священнаго текста.

Вотъ, напримѣръ, какъ описываетъ г. Случевскій женщинъ, «во тмѣ и молчаніи ночи» шедшихъ къ саду Іосифа Аримаѣйскаго: «На одной изъ женщинъ, постоянно опережавшей другую, обозначался *иматій* желтаго цвѣта; она плотно обвернула имъ голову, плечи, станъ; изъ-подъ гиматія снизу, почти касаясь пыльнаго пути, виднѣлась шерстяная зеленая *туника*. Другая женщина была вся въ голубомъ; она тоже закуталась вplotную и шла въ подвижныхъ складкахъ <sup>1)</sup>».

«Это были двѣ женщины изъ народа, простыя женщины, жены мѣроносицы: Марія Магдалина и съ нею другая Марія».

Увѣренность, съ которою г. Случевскій относитъ этихъ женщинъ къ низшему классу народа, не имѣетъ никакихъ основаній; въ евангеліяхъ этого про нихъ не сказано, а изъ того, что говорится, можно, скорѣе, вывести другое заключеніе; постороннихъ же источниковъ по этому предмету мы не имѣемъ. Напрасно также авторъ, сказавши, что это были *простыя женщины*, тутъ же, какъ бы въ поясненіе, прибавляетъ *жены мѣроносицы*; во-первыхъ, между этими выраженіями нѣтъ никакой

---

1) Когда русскій писатель говоритъ о древне-еврейской одеждѣ и не хочетъ ограничиться простымъ ея описаніемъ, а непременно желаетъ ввести древнія названія, то, очевидно, это должны быть названія еврейскія. Но г. Случевскій почему-то употребляетъ въ этомъ случаѣ греческій языкъ съ латинскимъ пополамъ. Это можетъ ввести въ заблужденіе много читателя, который подумаетъ, что евреи заимствовали свою верхнюю одежду у грековъ, а исподнюю у римлянъ. Между тѣмъ на самомъ дѣлѣ, благодаря финикіянамъ, семитическій *хиттонетъ* послужилъ первообразомъ для греческаго хитона и римской туники. Также и для верхней одежды евреи имѣли издревле свое названіе (*симла*) и свою форму, болѣе близкую къ верхней одеждѣ нынѣшнихъ феллаховъ и бедуиновъ (*абѣѣѣ*) нежели къ греческому гиматію.

логической связи, во-вторыхъ, читатель и безъ того уже догадался, о комъ идетъ рѣчь, а въ третьихъ, въ описываемое время эти женщины не назывались женами мученицами, а получили это почетное названіе лишь въ позднѣйшей церковной терминологіи. Не станеть же писатель-художникъ, изображающій, на примѣръ, императора Константина въ его молодости, называть его святымъ и равноапостольнымъ.

Неумѣстны также рѣшительныя указанія г. Случевского на цвѣта, одеждъ. Совершенно-ли увѣренъ онъ въ томъ, что женщины, шедшія ночью плакать на гробъ только что умершаго, — не боясь нарушить тѣмъ святыню праздника, — были въ обыкновенныхъ цвѣтныхъ платьяхъ, а не въ траурномъ *сакъ*? Да и помимо этого, зачѣмъ говорить о цвѣтахъ, когда онѣ шли въ темнотѣ? Хотя г. Случевскій и замѣчаетъ, что «чуть-чуть теплился разсвѣтъ и начиналъ вызывать повсюду поблекшія на ночь краски жизни», но, по евангельскому свидѣтельству, на которое онъ же ссылается въ другомъ мѣстѣ, дѣло было «тѣмъ еще сушею» (*σχετῖας ἔτι οὖσης*), когда различать цвѣта, особенно же зеленый отъ голубого, никакъ невозможно; слѣдовательно, это упоминаніе о цвѣтахъ есть ошибка и съ точки зрѣнія картинности.

Распятіе Христа въ рассказѣ нашего автора почему-то помѣщено послѣ Воскресенія; было бы лучше, еслибы онъ вовсе о немъ умолчалъ.

«Обычнымъ приемомъ для ускоренія смерти было перебиваніе голеней; относительно Сына Человѣческаго, смерть Котораго наступила быстро, вѣроятно, вслѣдствіе *длившася цѣлую ночь и часть предшествовавшего дня неистоваго бичеванія*, а также вслѣдствіе того, что душа Его скорбѣла смертельно. Приемомъ отсѣбанія голеней не пришлось воспользоваться, чѣмъ исполнилось пророчество: кость не сокрушится отъ Него». Подчеркнутыя слова поразительны какъ по своей внутренней нелѣпости, такъ и по той крайней смѣлости и легкости, съ какими здѣсь о такихъ предметахъ сообщается небывалое и невоз-



можное. Сравнительно съ этимъ можно счесть простительнымъ грѣхомъ ссылку на несуществующее пророчество. У какого пророка прочесть г. Случевскій слова «кость не сокрушится отъ Него?» На самомъ дѣлѣ они находятся въ обрядовомъ законѣ (кн. Исходъ), относятся къ пасхальному агнцу и приведены евангелистомъ Іоанномъ не какъ пророчество, а какъ писаніе (γράφη) символически толкуемое. Не всякое писаніе, хотя бы и священное, есть пророчество.

Г. Случевскій украшаетъ свой рассказъ не только дополненіями отъ себя, но также изрѣдка ссылками на талмудъ и І. Флавія.

«Чрезвычайно пестрое населеніе (Іерусалима) было громадно. Описывая взятіе Іерусалима Титомъ, Флавій насчитываетъ, что число погибшихъ во время осады достигало 1,000,000 человекъ. Для подтвержденія своихъ словъ и предвидя недоувѣріе, Флавій сообщаетъ, что когда одинъ изъ правителей, желая убѣдить кесаря Нерона въ этомъ чудовищномъ многолюдствѣ, приказалъ однажды сосчитать число пасхальныхъ жертвъ, то ихъ оказалось 256500; такъ какъ каждая изъ нихъ приносилась обыкновенно семьями, обществами человекъ въ десять, то многолудство тогдашняго Іерусалима, кажущееся намъ невѣроятнымъ, тѣмъ не менѣе несомнѣнно». Для кого это написано? Люди, свѣдущіе въ исторіи, лучше г. Случевского знакомы съ писаніями І. Флавія и знаютъ степень достовѣрности этого историка; а люди несвѣдущіе будутъ введены въ заблужденіе этими «несомнѣнными» показаніями. Топографія тогдашняго Іерусалима достаточно извѣстна, размѣры его были менѣе теперешнихъ и, даже предполагая и вдвое бѣльшую плотность населенія, оно не могло достигать и ста тысячъ человекъ. Число пасхальныхъ агнцевъ, на которомъ основывается І. Флавій, совершенно фантастично: при существованіи храма эти агнцы должны были закалаться священниками при храмѣ, и ясно, что нельзя было успѣть заколотъ такое количество агнцевъ въ назначенный для этого закономъ короткій срокъ (вечернія сумерки наканунѣ Пасхи).

Еще менѣе посчастливилось г. Случевскому съ талмудомъ. «Талмудъ даетъ основаніе заключить о нѣкоторомъ исключительномъ положеніи исчезнувшаго Еммауса; онъ свидѣтельствуеть о томъ, что пародные еврейскіе учителя, желавшіе оставаться постоянно вблизи Іерусалима, имѣли здѣсь свой *forum disputationum*. Въ талмудѣ же существуетъ рядъ постановленій, носящихъ имя Еммаусскихъ *Галъ*». Какіе «Галы», почему «Галы»? Очевидно, авторъ прочелъ въ какой-нибудь справочной книгѣ такое выраженіе: *die Hal. von Emmaus*, или *the hal. of Emmaus*, или *les hal. d'Emmaus*, и, не зная, въ чемъ дѣло, и что это *hal.* есть сокращенное *halachoth*, создалъ, ничтоже сумняся, свои «Галы».

Отмѣтимъ еще нѣкоторыя странности въ этомъ разсказѣ.

«Никодимъ и Іосифъ, могучіе, бородастые, *древніе*, въ длинныхъ темныхъ синдонахъ, были двумя главными носильщиками драгоценной ноши Распятаго, прикрытой длиннымъ бѣлымъ льнянымъ пологомъ». Что значитъ «драгоценная ноша Распятаго»? Выходить, будто Распятый несъ драгоценную ношу, прикрытую бѣлымъ пологомъ. И въ какомъ смыслѣ Никодимъ и Іосифъ называются «древними»? въ смыслѣ ли своего возраста? но изъ Евангелія не видно, чтобы они были уже такъ престарѣлы; или въ смыслѣ времени, когда они жили? но такъ какъ повѣсть переноситъ насъ именно въ это время, то относительно него они не могли быть древними, ибо всякій человѣкъ по необходимости долженъ быть современенъ самому себѣ и своей эпохѣ.

Говоря о встрѣчѣ римскаго воина съ апостолами въ день Воскресенія, г. Случевскій дѣлаетъ слѣдующее безспорное, но неожиданное замѣчаніе. «Еще не сложилось въ тотъ давній день крестное знаменіе, еще не получило вещественнаго знака благословеніе, еще не существовало ни рукоположенія, ни преемственности священства». Удивительный литературный приѣмъ по поводу какого-нибудь дня перечислять различные предметы, которыхъ тогда еще не было.

«И объяты ученики не осмѣливающимся облечься въ слово сомнѣніемъ, и пужно имъ знать, пужно провѣдать, нельзя не знать, что же дѣлается въ самомъ дѣлѣ въ Іерусалимѣ». Объ апостолахъ Христовыхъ писать такимъ слогомъ едва ли удобно.

«Передъ тѣмъ, чтобы выйти на дорогу, связывавшую селеніе Силоамское съ городомъ, всѣ они, чтобы сговориться окончательно, какъ, что и гдѣ разузнать, сѣли, раздѣлили скудную пищу, имѣвшуюся въ запасѣ, *уничтожили* ее и двинулись дальше». Почему раздѣленіе скудной пищи есть средство къ тому, чтобы сговориться относительно развѣдокъ, и зачѣмъ они «уничтожили» этотъ скудный запасъ, который они взяли, конечно, не для того, чтобы его уничтожить, а для того, чтобы его съѣсть, а ужъ если они рѣшили его уничтожить, то зачѣмъ же они раньше его раздѣлили? При томъ въ художественномъ произведеніи нельзя ограничиваться такимъ отвлеченнымъ указаніемъ, нужно, чтобы дѣйствіе являлось въ конкретномъ образѣ; какъ уничтожили они пищу? бросили-ли они ее въ воду, или сожгли огнемъ, или какъ-нибудь иначе предали разрушенію? Еслибы рассказъ былъ написанъ не такимъ изящнымъ и образованнымъ писателемъ, какъ г. Случевскій, а какимъ-нибудь репортеромъ уличнаго листка, то ясно было бы, что подъ выраженіемъ *уничтожили* онъ разумѣлъ просто *съѣли*, но въ настоящемъ случаѣ такое объясненіе было бы невѣроятно.

«Въ ближайшіе вслѣдъ за казнью на Голгоотѣ дни всѣ пути отъ Іерусалима отличались необыкновеннымъ оживленіемъ: густыя волны народныя, пришедшія на Пасху, убывали... по степнымъ каменистымъ путямъ двигались крупные, важные, задумчивые, почтенные лица ветхозавѣтныхъ евреевъ, тѣхъ людей, изъ которыхъ вышли пророки, о которыхъ повѣствуетъ Библия, а не большинство современнаго намъ еврейства, продажнаго, выродившагося и грязнаго». Не говоря уже о грамматическихъ изъянахъ этой фразы, непонятно, почему г. Случевскій называетъ «ветхозавѣтными» именно тѣхъ евреевъ, которые были свидѣтелями новозавѣтнаго откровенія? Еще менѣе

понятно, какимъ образомъ изъ этихъ евреевъ, современниковъ Христа и апостоловъ, могли выйти библейскіе пророки, жившіе, какъ извѣстно, за много вѣковъ до Р. Х., а большинство современнаго еврейства, по мнѣнію г. Случевского, изъ этихъ евреевъ не вышло. По истинѣ удивительные люди, которые были родоначальниками своихъ предковъ и не были родоначальниками своихъ потомковъ!

Вотъ и еще мѣсто, показывающее, насколько своеобразно отражается въ мысляхъ нашего писателя временная связь явлений. «И вотъ уже близка муриносица къ гробницѣ и помнится Маріи, что здѣсь, гдѣ теперь брезжетъ утренній свѣтъ, лежала глубокая тьма... горѣли тогда факелы... гробница зіяла открытою... вотъ положили въ нее тѣло... сама она помогла обвить его плащаницею, сама трепетно оправила... «не рыдай Мене, Мати» звучать въ воспоминаніи Маріи какія-то слова... кто сказалъ ихъ, гдѣ слыхала она ихъ?...». «Не рыдай Мене, Мати» это слова изъ нашей церковной пѣсни, которая поется въ послѣдніе дни Страстной недѣли; какимъ образомъ эти слова могли пройти въ воспоминаніи Маріи Магдалины на другой день послѣ распятія? Вотъ тутъ умѣстно было бы автору припомнить, что не было тогда ни церкви православныхъ, ни великопостной службы, ни пѣснопѣній въ память страстей Христовыхъ, ни даже церковнославянскаго языка.

Наполнивъ большую часть своего произведенія ненужнымъ пересказомъ евангельскаго повѣствованія съ неудачными дополненіями и необдуманными замѣчаніями, г. Случевскій оставилъ себѣ слишкомъ мало мѣста для изображенія тѣхъ лицъ, которыя могли-бы дать смыслъ его разсказу, именно римскаго легіонера, обращающагося ко Христу, и вдовы, — хозяйки того дома въ Еммаусѣ, гдѣ остановился воскресшій Христосъ съ двумя учениками. Эти два лица могли бы быть интересными, еслибы авторъ сдѣлалъ ихъ средоточіемъ своего изложенія, но въ теперешнемъ своемъ видѣ, поспѣшно и мимоходомъ набросанныя, они являются только лишнимъ придаткомъ къ лишнему разсказу.



Несмотря на нѣкоторыя неизбѣжныя у г. Случевского странности, сильное впечатлѣніе производитъ разсказъ изъ временъ Іоанна Грознаго «Въ скудельницѣ». Изображается наѣздъ опричниковъ на село Скудельничье.

«Въ четвертокъ передъ Троицынимъ днемъ люди добролюбивые сходились сюда отовсюду рыть могилы для странниковъ и пѣть панихиды объ успокоеніи душъ тѣхъ, имя, отчество и вѣра которыхъ были неизвѣстны; они не умѣли назвать ихъ, этихъ людей, но думали, что Богъ слышитъ и знаетъ, за кого возносятъ молитвы. Впрочемъ, не одни безыменные люди погребались въ скудельницахъ: попаленные молніею, замерзшіе, утопшіе, разбойники, отравленные, самоубійцы, иноземцы, люди, замученные пыткой и умершіе въ темницѣ, въ опалѣ, всѣ, всѣ свозились сюда въ ожиданіи погребенія, а мало-ли было такихъ и подобныхъ за истекшую зиму? Тѣла доставлялись отовсюду, изъ Москвы и окрестностей; ихъ складывали или во временно вырытыя ямы, или въ убогія дома, иногда въ подземелья се сводами. Надъ этими временными помѣщеніями ставились будки для чтенія надъ покойниками, и особые люди, Божьи люди, божедомы, шли на службу къ ожидающимъ погребенія». Далѣе внутренность одной изъ такихъ скудельницъ и смерть молодого опричника, погнавшагося туда за красивой дѣвушкой и задохнувшася отъ трупнаго смрада, изображены мастерски. Это одно изъ самыхъ талантливыхъ и серьезныхъ произведеній г. Случевского.

Нельзя сказать того-же о маленькомъ разсказѣ «Форнарина». Этотъ анекдотъ изъ жизни Рафаэля болѣе непристоенъ, нежели интересенъ. Замѣчательны здѣсь только нѣкоторыя выраженія автора. «Священнослужитель алтаря», — какъ будто бываютъ еще другіе священнослужители! «Я знаю, чье высокое ходатайство хочеть твоей свадьбы», — ходатайство есть само дѣйствіе чьей-нибудь воли, а быть субъектомъ хотѣнія ему вовсе не свойственно.

Изъ произведеній, вошедшихъ въ разбираемую книгу, самое

большое и, повидимому, самое значительное, въ глазахъ автора, называется «Профессоръ безсмертія».

«Лѣтъ десять тому назадъ; Семену Андреевичу Подгорскому, молодому человѣку, красивому и не бѣдному, вышедшему изъ Московскаго университета кандидатомъ и служившему въ одномъ изъ министерствъ, предстояла на лѣто командировка въ калмыцкія степи. Командировки требуютъ нѣкотораго подготовленія къ предстоящему дѣлу, и Семенъ Андреевичъ занимался ими. Между прочимъ обратился онъ и къ бывшему попечителю калмыцкаго народа, за старостью лѣтъ вышедшему въ отставку, и получилъ отъ него много матеріаловъ, справокъ, совѣтовъ».

«Между прочимъ, бывшій попечитель калмыковъ сказалъ ему, что въ степяхъ познакомится онъ, даже непременно долженъ познакомиться, съ чудакомъ перваго разбора, докторомъ медицины Петромъ Ивановичемъ Абатуловымъ; что небольшая усадьба его, на берегу Волги, это рай земной и, какъ мѣсто отдохновенія, самое лучшее; что жена его, Наталья Петровна, женщина красивая, но очень вольная и даже, какъ выразился попечитель, можетъ быть преступная; что самъ Абатуловъ посвятилъ себя даровому леченію всякихъ больныхъ, и что онъ «проповѣдуетъ» что-то очень дикое, а именно доказываетъ, какъ онъ выражается, по даннымъ совсѣмъ научнымъ, что душа человѣка не можетъ не быть безсмертной, но въ то-же время, самъ въ церковь не ходитъ».

«— Я случайно какъ-то, объяснилъ бывшій попечитель калмыцкаго народа, — присутствовалъ при одномъ подобномъ его разговорѣ и, помню очень хорошо, доказывалъ онъ намъ какъ-то очень странно безсмертіе души человѣческой! Чудакъ! его такъ и можно назвать «профессоромъ безсмертія».

«Бывшій попечитель калмыковъ снабдилъ Семена Андреевича письмомъ къ Абатулову».

«— Смотрите, не попадитесь на удочку къ Натальѣ Петровнѣ, — сказалъ онъ, отдавая письмо».

«Всѣ эти сообщенія не пропали для Семена Андреевича и,

вырабатывая свой маршрутъ по калмыцкимъ степямъ, онъ устроилъ такъ, чтобы ему побывать въ Родниковѣ два раза вмѣсто одного».

Этою завязкою да случайною катастрофой — смертью Натальи Петровны, утонувшей во время катанья по Волгѣ, — собственно и ограничивается *дѣйствіе* въ разсказѣ. Бóльшая его часть занята изложеніемъ идей Петра Ивановича по его «тетрадкѣ», а также въ разговорахъ съ гостемъ. Такой нехудожественный пріемъ можетъ, конечно, искупаться занимательностью и важностью самихъ мыслей. Идеи Петра Ивановича относятся къ предметамъ въ высшей степени интереснымъ и важнымъ — къ загробной жизни, къ молитвѣ, къ значенію Христа и церкви.

Всякому хорошо думать о такихъ предметахъ; эти размышленія приносятъ, конечно, душевную пользу г. Случевскому, и самые выводы, къ которымъ онъ приходитъ, вообще заслуживаютъ одобренія. Совершенно другой вопросъ, — насколько призванъ и подготовленъ авторъ для всенароднаго оглашенія своихъ размышленій? Достойно и съ пользою предлагать общему вниманію *свое слово* по предметамъ такой важности можно въ двоякомъ видѣ: или какъ результатъ систематической умственной работы, къ которой призваны философы и ученые, имѣющіе для этого и спеціальную подготовку, или же какъ плодъ творческаго вдохновенія свободно проникающаго въ самое средоточіе предмета, — что свойственно истиннымъ поэтамъ. Если эти два фактора духовной производительности гармонически соединяются вмѣстѣ, — тѣмъ лучше, но по крайней мѣрѣ одинъ изъ нихъ непременно долженъ присутствовать въ достаточной мѣрѣ. Въ трактатѣ г. Случевского мы не замѣчаемъ ни того, ни другого. Удовлетворить требованіямъ отчетливой и послѣдовательной мысли авторъ, конечно, не имѣлъ и притязанія, а съ другой стороны, хотя онъ и способенъ вообще къ вдохновенію, но въ настоящемъ случаѣ оно его не посѣтило.

Никакихъ прозрѣній въ глубь предмета, никакихъ мыслей, разомъ озаряющихъ темные вопросы мы здѣсь не находимъ. Да

и самъ авторъ, очевидно, не полагался на силу своего творчества въ этой области, потому что на каждомъ шагу, вмѣсто того, чтобы говорить о дѣлѣ, онъ только ссылается на разные дѣйствительные и мнимые авторитеты. Вотъ полный списокъ этихъ разнородныхъ и, такъ сказать, «разнокалиберныхъ» именъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они размѣщены въ рассказѣ: Погодинъ, Гельмгольцъ, Вундтъ, Шлоссеръ, Штраусъ, Гервинусъ, Миттермайеръ, Кирхгофъ, Бунзенъ, Блюнчли, Тьеръ, Кантъ, Дарвинъ, царь Соломонъ, блаженный Августинъ, Грюнъ, Спенсеръ, Максъ Мюллеръ, Виякельманъ, Бэръ, Шиллеръ, Геккель, Данилевскій, Ньютонъ, Шекспиръ, Бетховенъ, Будда, Тиндаль, Шопенгауеръ, Гартманъ, Бернштейнъ, Эрстедъ, Гумбольдъ, Гегель, Лобачевскій, Рیمانъ, Шмицъ-Дюмонъ, Карно, Томсонъ, Сведенборгъ, Андрей Муравьевъ, Грязингеръ, Достоевскій, Магометъ, Редстокъ и Пашковъ. Изъ этой полусотни именъ развѣ только три, или четыре приведены кстаи и натурально, всѣ остальные потревожены совершенно напрасно и успѣшно могли бы быть замѣнены другими, а еще лучше вовсе опущены. Нѣкоторые изъ авторитетовъ приведены до крайности неудачно. Вотъ образчикъ.

«Припоминаю я, что по смерти знаменитаго маленькаго Тьера, было гдѣ то напечатано, если не ошибаюсь въ газетѣ *Liberté*, что въ бумагахъ его найдена рукопись, задачею которой было доказать безсмертіе души естественно-научнымъ путемъ. Это думалъ сдѣлать Тьеръ, а Кантъ,—какъ вы это знаете, конечно, лучше меня,—писалъ, что безсмертіе души должно быть отнюдь не созданьемъ вѣрованія, а логическою несомнѣнностью. Оба они глубоко справедливы, очень глубоко, и это можно доказать».

Сочиненіе Тьера, какъ лица «глубоко, очень глубоко» некомпетентнаго въ этихъ вопросахъ, никакого значенія имѣть не можетъ. Что касается до дѣйствительно-авторитетнаго Канта, то къ сожалѣнію онъ «писалъ» какъ разъ противоположное тому, что приписываетъ ему г. Случевскій. Какъ извѣстно всякому знакомому съ исторіей философіи Кантъ утверждалъ именно, что



бессмертіе души, равно какъ и существованіе Божіе, — логически недоказуемы, что это не истины теоретическаго познанія, а только постулаты *практическаго* разума, или предметы разумной *опры*.

При такомъ полномъ незнакомствѣ съ Кантомъ, зачѣмъ на него ссылаться, — да еще въ такой рѣшительной формѣ: «какъ вы это знаете, конечно, лучше меня». Ясно, что оба собесѣдника объ этомъ, «конечно», ничего не знаютъ, и кому же они обязаны этимъ незнаніемъ, какъ не г. Случевскому?

На профессора бессмертія можно было бы смотрѣть просто какъ на типъ — типъ «естественника» и медика, собственнымъ умомъ доходящаго до основныхъ истинъ метафизики и религій. Такой типъ, представлявшійся прежде лишь единичными лицами, за послѣднее время начинаетъ все болѣе и болѣе распространяться, и г. Случевскій, остановившись на немъ, показалъ похвальную отзывчивость на явленія дѣйствительности. Но ошибочно представивъ проповѣдь Петра Ивановича, какъ нѣчто оригинальное и значительное само по себѣ, и наполнивъ ею большую часть своего разсказа, авторъ существенно повредилъ художественному его характеру. Петръ Ивановичъ есть лицо живое и правдиво очерченное въ повѣствовательной и описательной части разсказа, но отношеніе къ нему автора основано на заблужденіи; свое справедливое уваженіе къ нравственному характеру своего героя, г. Случевскій перенесъ и на его идеи, которыя сами по себѣ нисколько не замѣчательны. Если бы какой-нибудь беллетристъ съ плохо скрываемымъ благоговѣніемъ сталъ на десяткахъ страницъ передавать разсужденія какого-нибудь добродѣтельнаго чудака, который въ концѣ XIX-го столѣтія своимъ умомъ и съ грѣхомъ пополамъ додумался до той истины, что земля вращается вокругъ солнца, то всякій нашелъ бы это очень страннымъ. Но въ области философскихъ и религіозныхъ идей излагаемая нашимъ авторомъ разсужденія, насколько въ нихъ видна ясная мысль, не менѣе вѣрны, но еще болѣе стары, чѣмъ Коперникова система въ астрономіи.

Въ предыдущемъ разборѣ я указалъ и на лучшее въ книгѣ г. Случевского и остановился на самомъ слабомъ и неудачномъ. Отдѣльныя погрѣшности, мною отмѣченныя, легко могутъ быть исправлены при новомъ изданіи этой интересной книги — къ большой выгодѣ для общаго впечатлѣнія, ею производимаго. Справедливость требуетъ замѣтить въ заключеніе, что если всѣмъ хорошимъ въ своихъ произведеніяхъ нашъ авторъ обязанъ своему собственному таланту, то въ указанныхъ недостаткахъ и странностяхъ, при всей ихъ своеобразности виноваты главнымъ образомъ особыя внѣшнія условія его литературной дѣятельности. По обстоятельствамъ времени талантъ г. Случевского не могъ получить никакого литературно-критическаго *воспитанія*. Съ этимъ лирическимъ и отчасти сентиментальнымъ талантомъ онъ выступилъ въ самый неблагопріятный для него моментъ — въ началѣ дѣловой преобразовательной эпохи Александра II. Сразу запуганный безпощадно-отрицательнымъ отношеніемъ къ чистой поэзіи со стороны тогдашней критики, имѣвшей свои исторически объяснимыя, но эстетически неправильныя требованія, г. Случевскій литературно замкнулся въ себѣ и хотя, конечно, не переставалъ писать, но пересталъ печатать въ продолженіе, если не ошибаюсь, около 20 лѣтъ. Такимъ образомъ какъ разъ въ ту пору, когда зрѣетъ и окончательно складывается литературный талантъ, нашъ писатель былъ предоставленъ самому себѣ и совершенно лишенъ всякихъ исправляющихъ воздѣйствій, въ которыхъ онъ весьма нуждался.

Но если мы находимъ у К. К. Случевского *талантъ невоспитанный*, то во всякомъ случаѣ это — настоящій талантъ, заслуживающій вниманія и признанія.

Владимиръ Соловьевъ.

## VI.

„Федра“, трагедія въ 5 дѣйствіяхъ въ стихахъ Ж. Расина. Переводъ въ стихахъ размѣромъ подлинника Льва Поливанова, Москва. 1895.

---

Рецензія, составленная О. Д. Батюшковымъ.

---

Г. Л. Поливановъ съ похвальнымъ постоянствомъ продолжаетъ свою полезную дѣятельность переводчика французскихъ классиковъ по-русски, заслуживъ уже дважды за свои переводы въ стихахъ поощреніе Императорской Академіи Наукъ. Мнѣ приходилось уже давать отзывъ о переводѣ г. Поливановымъ Мольерова «Мизантропа», отмѣчая его сравнительныя достоинства и недостатки, при сличеніи съ другими русскими переводами того же произведенія, при чемъ указано было, что главными преимуществами перевода г. Поливанова представляются его крайняя добросовѣстность, близость подлиннику и правильный, литературный языкъ, при соблюденіи размѣра оригинальнаго текста. Въ то же время нельзя было не отмѣтить и нѣкоторой безцвѣтности перевода, посредственныхъ стиховъ, скудости римомъ и т. п. Переводъ во всякомъ случаѣ значительно ослабляетъ впечатлѣніе подлинника, но не даромъ о языкѣ Мольера сложилось убѣжденіе, что «онъ способенъ привести въ отчаянье всякаго подражателя

и превосходить силы любого переводчика». Языкъ Расина отличается иными качествами, которыя въ нѣкоторомъ отношеніи облегчаютъ задачу переводчика, но только отчасти. Это прежде всего вполне правильный, чистый, въ высшей степени ясный и простой языкъ, при чемъ Расинъ, какъ указано Эмилемъ Фагэ въ его очеркѣ объ этомъ писателѣ, «не создалъ новаго стиля: его языкъ не отмѣченъ какъ бы особымъ клеймомъ, которое въ другихъ случаяхъ заставляетъ васъ сказать, встрѣтивъ извѣстное выраженіе или оборотъ: «это слогъ Паскаля», или: «это стихи Корнеля». Достоинствомъ Расина, какъ писателя (достоинствомъ во всякомъ случаѣ изумительнымъ) является полное отсутствіе недостатковъ слога. Любую изъ его трагедій читаешь, ни разу не останавливаясь надъ несообразностью, неясностью или слабостью выраженія, небрежностью или неблагозвучіемъ». Не отъ того ли Расинъ самый любимый, самый популярный поэтъ во Франціи? Когда впервые Вильг. Шлегель, еще въ 1807 г., рѣшился выступить съ критикой противъ Расиновой «Федры» по сравненію съ «Ипполитомъ» Эврипида, «Федрой», которую онъ самъ признавалъ наиболѣе цѣнимою изъ произведеній Расина, то нѣмецкій критикъ заботливо отстранилъ вопросъ объ общепризнанныхъ достоинствахъ языка данной трагедіи. По его мнѣнію, именно эти достоинства заслоняли французскимъ поклонникамъ Расина оцѣнку его произведенія по существу, ибо французы всего болѣе склонны увлечься красивыми оборотами фразъ, отдѣльными превосходными стихами, теряя изъ виду общее впечатлѣніе трагедіи. Оспаривая ея значеніе въ цѣломъ, В. Шлегель не дерзнулъ коснуться того, что составляетъ главный предметъ поклоненія Расину: «несравненныхъ красотъ поэтической и гармоничной дикціи». Въ настоящее время Тэнъ въ своемъ блестящемъ очеркѣ о Расинѣ, устанавливалъ иную точку зрѣнія на оцѣнку произведеній французскаго поэта и «по существу», признавая, несмотря на свое предубѣжденіе противъ литературы XVII вѣка, что Расинъ является во всякомъ случаѣ самымъ яркимъ представителемъ національно-французскаго склада мысли. Расинъ нынѣ заслужилъ (для



многихъ неожиданно) названіе народнаго поэта, въ широкомъ смыслѣ слова «народный», независимо отъ выбора не-національныхъ сюжетовъ его пьесъ и условной формы его трагедій, предназначенныхъ для ограниченного круга зрителей. Явленіе это знаменательное, подтверждающее справедливость афоризма Гёте:

Wer für den besten seiner Zeit gelebt  
Der hat gelebt für alle Zeiten.

Вышеприведенныя замѣчанія Э. Фагэ о языкѣ Расина, отсутствіе рѣзкой индивидуальности его слога (ея нѣтъ и въ рѣчахъ разныхъ дѣйствующихъ лицъ его трагедій), который, по общему признанію критиковъ, просто «превосходенъ», облегчаютъ, повидимому, задачу переводчика въ томъ отношеніи, что ему не приходится заботиться о передачѣ какихъ-либо своеобразныхъ особенностей языка подлинника. Но въ тоже время эти качества стиля налагаютъ большую отвѣтственность на переводчика Расина. Изъ русскихъ поэтовъ едва ли не одинъ лишь Пушкинъ сумѣлъ достичь такой «объективной» красоты стиха; въ своей прозѣ Пушкинъ болѣе индивидуаленъ, но въ стихахъ онъ именно установилъ тотъ типъ образцоваго стиля, къ которому не примѣнимъ даже эпитетъ «Пушкинскаго»; это что-то большее, высшее даже индивидуальности генія: стихи величайшаго нашего народнаго поэта, такъ же какъ и стихи Расина, просто превосходны. И хотя Расинъ, какъ замѣтилъ Фагэ, и не создалъ «новаго» стиля, но до него никто во Франціи такъ не писалъ, такъ же какъ и у Пушкина впервые нашъ литературный языкъ приобрѣлъ какъ бы окончательную шлифовку, впервые достигъ той выработанности и цѣльности, при изумительной простотѣ и ясности, — тѣхъ качествъ, которыя устанавливаютъ норму образцоваго языка. Когда примѣръ данъ, то слѣдовать ему легче, чѣмъ выступать піонеромъ даже въ такомъ дѣлѣ, которое со временемъ должно стать общимъ достояніемъ. Такимъ образомъ, въ нашей быстро расцвѣтшей поэзіи послѣ-Пушкинскаго періода даже и у второстепенныхъ поэтовъ встрѣчаются прекрасные

стихи именно потому, что извѣстный типъ поэтическаго языка сталъ общимъ достояніемъ, что наши poëtae minores прошли школу, что получили въ свое распоряженіе выработанную поэтическую технику.

Приравнивая, по совершенству стихотворнаго языка, Пушкина Расину, мы, при оцѣнкѣ новѣйшаго перевода Расина, тѣмъ самымъ отстраняемъ отъ сравненія всѣ старинные переводы до Пушкинскаго періода, ибо они не могутъ отвѣчать нашимъ требованіямъ и представленіямъ о правильномъ, выработанномъ литературномъ языкѣ. Каково бы ни было историческое значеніе переводовъ Сумарокова и Державина, мы не можемъ теперь безъ улыбки прочесть стихи въ родѣ слѣдующихъ:

(Сумароковъ) Печальные стражи вокругъ его текли  
И горестъ такъ, какъ онъ, въ молчаніи влекли...  
...Взыванію его послушны завсегда  
...Земля изъ чреслъ своихъ подобно восклицала...

(Державинъ) Прекрасные коні, бывъ прежде горделивы...  
Шли преклоня главы, и тускомъ ихъ очей...  
...сей страшный видъ  
По гробъ мой жалости слезъ токи источить...  
...Хотѣлъ остановить, но гласомъ ихъ пужаль...

Въ началѣ нынѣшняго вѣка у насъ появилось нѣсколько переводовъ «Федры», которые, кстати замѣтить, далеко не всѣ указаны г. Поливановымъ въ его перечнѣ русскихъ переводовъ данной трагедіи. Уже въ 1824 году г. Окуловъ сообщаетъ въ предисловіи къ своему переводу «Федры», что онъ является двѣнадцатымъ по счету «изъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ переводовъ» этой трагедіи Расина, между тѣмъ г. Поливановъ насчитываетъ съ новѣйшими (въ числѣ которыхъ опущенъ переводъ г. Буланина, 1887 г., и невѣрно датированъ переводъ г. С-го—1889 вмѣсто 1890 г.) всего лишь девять переводовъ: если довѣрять Окулову, ихъ не менѣе шестнадцати (полныхъ и отрывковъ) причемъ не всѣ повидимому напечатаны. Но, исправляя эту библио-

графическую неточность г. Поливанова, мы все же не рѣшимся привлечь прежніе переводы къ сравненію съ новѣйшимъ. Ихъ общимъ недостаткомъ (за исключеніемъ переводовъ гг. Буланина и С-го, не выдерживающихъ критики по другимъ причинамъ) является крайнее несовершенство языка, напыщенный слогъ, насильственные конструкции, цѣлый рядъ устарѣвшихъ выраженій, словомъ всѣ тѣ атрибуты нашего «псевдо-классицизма», которые не мало повредили репутація французскихъ классиковъ въ Россіи. Ограничимся нѣсколькими примѣрами изъ наиболѣе извѣстныхъ переводовъ первой четверти нынѣшняго вѣка:

(Анастасевичъ, 1805 г.): Кряжъ влаги къ берегу пришедъ и  
треснувъ взору...

...Отъ боли, ярости ужасный сдѣлавъ  
скокъ,

Предъ коньми вержется чудовище у  
ногъ...

...Стремглавъ межъ скалъ женеть ихъ  
страхъ неукротимый...

(Тучковъ, 1814 г.): Коні, которыхъ могъ смярять его лишь  
гласъ,

Повѣся головы, шли скучно въ оный  
часъ...

...Грызома удила въ кровавой зрятся  
пѣнѣ.

Вѣщаютъ: видѣли въ ужасной сей  
премѣнѣ...

(анонимъ, 1821 г.): Познай же Федру днесъ и все въ ней  
иступленье.

...Принесшій его валъ отъ страха  
вспять стремился

(Лобановъ, 1823 г.): Внезапно, на хребтѣ текуція равнины  
Встаетъ кипящій холмъ изъ зыблемой  
пучины...

- ... Одинъ лишь Ипполитъ, рожденіе  
твое (т. е. сынъ)...
- (Окуловъ, 1824 г.): ...Два моря я обтекъ...  
...Прешель Елиду всю и бывъ въ виду  
Тенара  
Зрѣлъ море: бурный гробъ продерз-  
каго Икара,  
...Чія рука узлы составила сіи  
И ими такъ власы препутала мой?
- (Чеславскій, 1827 г.); Возмогъ либъ онъ имѣть препоны  
столь презрѣнны...  
...Взлютъло, прянуло чудовище прон-  
зенно...  
...Ахъ, остановимся, Энона, здѣсь —  
я млѣю!  
...Преплывъ пространство двухъ мо-  
рей... Тоскою ль ты влекомъ?

Наконецъ даже въ отрывкѣ, переведенномъ П. Катенинымъ въ 1828 году:

Межъ тѣмъ ключами бя кипущаго  
сребра  
Съ равнины влажныя вздымается  
гора...  
...Отвратенъ небесамъ сей бездны из-  
вергъ злой  
...И нѣкій богъ, гласятъ, для вящего  
ихъ страха... и пр.

Ничто такъ не отдаляло отъ пониманія истиннаго Расина, неподобнаго поэта и стилиста, какъ то мишурное одѣяніе, въ которое его облачали наши старинные переводчики. Правда, и въ этихъ переводахъ попадаются отдѣльные стихи, которые представляются болѣе удачными и нельзя не припомнить трогательнаго по своей скромности и въ общемъ вполне вѣрнаго



замѣчанія Чеславскаго въ предисловіи къ его переводу «Федры» (1827 г.). Переводчикъ заявляетъ, что онъ издаетъ свой трудъ «не отъ побужденія самолюбія, но точно въ тѣхъ мысляхъ, съ какими живописецъ, воспламененный произведеніемъ Тиціана и съ безкорыстной жадностью ловящій черты его подъ кисть, представляетъ публикѣ свою копію — не мечтая о превосходствѣ ея передъ другими, но думая только, что и въ ней найдутся можетъ мѣста, хотя слабо озаренныя свѣтомъ прекраснаго образца своего». Такія мѣста безспорно находятся, но «озарены» они все-таки весьма слабо и, въ общемъ, языкъ названныхъ переводовъ слишкомъ несовершененъ, слишкомъ неуклюжъ и архаиченъ, такъ что съ точки зрѣнія художественной передача подлинника оказывается въ совершенно фальшивой окраскѣ. Дѣло въ томъ, что архаизмовъ въ языкѣ Расина весьма немного и съ точки зрѣнія ново-французскаго, современнаго языка, и они не на столь характерны, чтобы представлялась надобность передавать ихъ русскими архаизмами, въ ущербъ главнымъ качествамъ стиховъ Расина — простоты, легкости и мелодичности; простоты, конечно, не въ смыслѣ небрежности, неупорядоченной непосредственности, а напротивъ того, выработанной, обдуманной простоты, которая представляется результатомъ самой тщательной отдѣлки (вѣдь, по преданію, Буало наставлялъ Расина «искусству съ трудомъ писать легкіе стихи» и надъ одной трагедіей Расинъ работалъ около двухъ лѣтъ). При этомъ стихи Расина — не будничныи языкъ и передавать ихъ вольнымъ размѣромъ, упразднивъ музыкальный ритмъ александринаскаго стиха и созвучіе римъ, представлялось бы тоже ошибочнымъ. Въ эту погрѣшность впали два новѣйшіе переводчика «Федры» г. Буланжъ <sup>1)</sup> и г. М. П. С. <sup>2)</sup>. Стихи г. Буланжа едва ли даже заслуживаютъ названія стиховъ, а столь порою забавно-наивны: «Такъ значитъ живъ Тезей? — спрашиваетъ Федра Энону въ 3-ей сценѣ, III дѣйствія, послѣ того какъ роковое признание въ преступной стра-

---

1) Изданіе Новикова, въ Самарѣ, 1887 г.

2) Помѣщенъ въ «Артистѣ» за 1890 г.

сти къ Ипполиту сорвалось съ ея устъ, и продолжаетъ: «Ну, хорошо. Тебѣ въ позорной страсти я призналась! Онъ живъ!... Мнѣ только это надо знать». Это полное искаженіе подлинника:

Mon époux est vivant Oenone; c'est assez.

J'ai fait l'indigne aveu d'un amour qui l'outrage:

Il vit; je ne veux pas en savoir davantage.

Нельзя же передавать «c'est assez»: «ну хорошо!» Признание въ позорной страсти Федра сдѣлала самому Ипполиту, а не одной Энонѣ («тебѣ»), что измѣняетъ положеніе дѣлъ; «en savoir davantage» т. е. слушать дальнѣйшихъ разсужденій Эноны, а не то, что «только это надо знать». Въ другомъ мѣстѣ перевода г. Буланина Федра говорить, что боги въ ней «кровь огнемъ проклятымъ разожгли». Такіе вульгаризмы врядъ ли уместны. Знаменитый стихъ: «Né bien! Connais donc Phedre et toute sa fureur», переданъ г. Буланинымъ совсѣмъ не классическимъ оборотомъ: «Ну что же? Изступленье Федры знай». Не менѣе знаменитый возгласъ Федры, обращенный къ Энонѣ: -

Detestables flatteurs, présent le plus funeste

Que puisse faire aux roix la colère céleste —

переименовъ, обезцвѣченъ и утратилъ въ переводѣ г. Буланина характеръ обращенія, правда обобщеннаго, но все же обращенія одного лица къ другому:

«Лъстецовъ презрѣнныхъ посылають боги | царямъ, чтобъ гнѣвъ свой грозный проявить». Развѣ это стихи? Переводъ г. С-го, помѣщенный въ «Артистѣ» за 1890 г., тоже исполненный бѣлыми стихами, не многимъ лучше перевода г. Буланина. Выше приведенный стихъ г-нъ С. переводитъ: «Теперь узнай же Федру и порывы ея страстей». Это опять таки вполне прозаичный оборотъ, а второй возгласъ перефразированъ имъ слѣдующимъ образомъ: «Всѣ подлые лъстецы царей карають | гораздо больше, чѣмъ

небесный гнѣвъ» <sup>1)</sup>. Г. С. весьма часто отступаетъ отъ точнаго смысла подлинника для болѣе или менѣе вольной его передачи, а нѣкоторые стихи совсѣмъ пропускаетъ. Такъ, опущенъ имъ извѣстный стихъ изъ разсказа Терамена, завершающій мастерски намѣченную въ трехъ стихахъ картину ужаса всей природы — неба, земли, воздуха и моря — при видѣ чудовища, посланнаго Нептуномъ на погибель Ипполита:

Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage,  
La terre s'en émeut, l'air en est infecté,  
Le flot qui l'apporta recule épouvanté.

Послѣдній стихъ, въ которомъ Расинъ воспользовался реально-правдивой картиной набѣжавшей и отхлынувшей назадъ волны, лишь «одухотворивъ» ее, представивъ какъ бы сознательнымъ актомъ естественное явленіе природы, вообще не удался ни одному изъ русскихъ переводчиковъ Расина. Ближе всѣхъ сохраненъ образъ въ переводѣ Державина:

Померкли небеса, его зря подь собой;  
Земля содрогнулась, весь воздухъ заразился,  
Принесшій валъ его вспять съ ревомъ откатился.

А вотъ другіе переводы послѣдняго стиха:

- |                |  |
|----------------|--|
| (Сумароковъ)   | И валъ, что несъ его, со страхомъ утекать.     |
| (Анастасевичъ) | Извергнувъ зыбь его отъ страха шла назадъ.     |
| (Тучковъ)      | А валъ, что несъ его, со страхомъ отступилъ.   |
| (Лобановъ)     | Его извергшій валъ со страхомъ отбѣжалъ.       |
| (Окуловъ)      | Извергшій валъ его вспять съ трепетомъ бѣжалъ. |
| (Чеславскій)   | Его извергшій валъ отхлынулъ устрашенный.      |
| (Катенинъ)     | Валъ, выбросивъ его, испуганъ отступаетъ.      |

---

<sup>1)</sup> Всего точнѣе переданы эти два стиха въ переводѣ 1821 г.:

Презрѣнные льстецы, страшнѣйшій изъ даровъ,  
Ниспосланныхъ царямъ отмщеніемъ боговъ.

Но форма прошедш. прич. «ниспосланныхъ» вмѣсто «ниспосылаемыхъ», какъ требуется по смыслу, и неупотребительное въ современномъ литературномъ языкѣ слово «отмщеніе» — портятъ стихъ.

Г. Булаинъ ограничился передачей естественнаго явленія природы, лишивъ картину лирической окраски:

Волна приплывшая отхлынула назадъ.

Наконецъ, какъ указано, г. С. совсѣмъ опустилъ этотъ стихъ, а г. Поливановъ, послѣдній переводчикъ «Федры», достигъ если и не вполне безупречнаго перевода всѣхъ трехъ стиховъ (слабѣе всѣхъ первый: «самъ отвращенье онъ и небесамъ внушалъ» — почему «самъ»?), то все же удовлетворительной передачи послѣдней фразы, — столь затруднявшей его предшественниковъ:

Его принесшій валъ въ испугѣ въ море скрылся.

У Державина «откатился» лучше сказано, образнѣе, чѣмъ «скрылся»; но волна набѣгаетъ «съ ревомъ», а откатывается — именно какъ бы въ испугѣ, такъ что у Державина выраженіе «съ ревомъ» неумѣстно и лучшимъ переводомъ стиха Расина представляется намъ лишь возможное сочетаніе стиха Державина съ поправкой г. Поливанова, который первую часть стиха все же заимствовалъ у Державина.

Какъ бы то ни было по отношенію къ отдѣльнымъ стихамъ, фразамъ и полу-фразамъ, между которыми, какъ было замѣчено Чеславскимъ, могутъ найтись и въ прежнихъ переводахъ Расина «мѣста, хотя слабо озаренныя свѣтомъ прекраснаго образца своего», мы считаемъ излишнимъ продолжать детальное сближеніе всѣхъ этихъ переводовъ съ новѣйшимъ переводомъ г. Поливанова, по вышеуказаннымъ соображеніямъ объ ихъ неудовлетворительности въ общемъ. Разумѣется, необходимо нѣсколько понизить наши требованія и при оцѣнкѣ послѣдняго перевода, исполненнаго добросовѣстно, старательно, безъ нарушенія смысла подлинника, и съ соблюденіемъ его размѣра, но врядъ ли передающаго все превосходства языка Расина и мелодичность его стиха. Врядъ ли русскій читатель «Федры» въ переводѣ г. Поливанова, повторить вмѣстѣ съ Э. Фагэ, что при чтеніи данной трагедіи «ни разу не остановишься надъ несообразностью, неясностью, или слабостью выраженія, небрежностью или неблаго-



звучіемъ» — а подобными качествами долженъ былъ бы отличаться вполне безупречный, художественный переводъ Расина. Но, конечно, это лишь идеальная норма для оцѣнки.

Уже при самомъ началѣ чтенія трагедіи, въ первомъ явленіи перваго дѣйствія, встрѣчаются стихи, отнюдь не отличающіеся «превосходствомъ», а довольно заурядные:

Ипполитъ: Въ сомнѣннй тяжкомъ я такъ долго изнываю,

Что праздности своей стыдиться начинаю.

Они и не вполне точно передаютъ текстъ подлинника:

Dans le doute mortel dont je suis agité

Je commence à rougir de mon oisiveté,

хотя, конечно, такіа незначительныя отступленія допустимы. Но на ряду съ нѣскольکو безцвѣтными, заурядными стихами, г. Поливановъ порою тоже сбивается на «псевдо-классическій» стиль, что, какъ уже было замѣчено, вполне неправильно при переводѣ Расина:

I, 16. До моря, зрѣвшаго паденіе Икара.

45. Лихая мачеха, едва предсталъ ты ей,

Явила власти знакъ немедленно своей

87. ...Мой отецъ, свершитель дѣлъ великихъ и т.п.

Правда, такіе стихи довольно рѣдки въ переводѣ г. Поливанова, и чѣмъ дальше, тѣмъ меньше ихъ <sup>1)</sup>, но можно было бы и совсѣмъ безъ нихъ обойтись. Не отличаются благозвучіемъ и слѣдующіе стихи:

I .....Будемъ жить, коль къ жизни есть возвратъ,

Коль чувства матерн мнѣ душу возвратятъ...

---

<sup>1)</sup> Однако, и въ III д., 49: Слѣдъ дикихъ въ немъ лѣсовъ, гдѣ онъ возросъ, остался.

IV д., 79

Очисти мои предѣлы

Отъ своего лица.

Въ послѣднемъ случаѣ, впрочемъ, и Расинъ употребилъ архаичное выраженіе «purge» (глаголь «purger» былъ очень распространенъ въ языкѣ XVII в.), такъ что данный стихъ: «De ton horrible aspect purge tous mes états» не изъ лучшихъ и въ подлинникѣ; все же «своего лица» не соответствуетъ выраженію «horrible aspect».

- II Обиду большую коль ждеть и кара строже,  
Коль за вражду мою воздашь враждой ты тоже...
- IV Любовью я горю. Хоть тѣмъ завѣтъ я рушу,  
Но только ей одной могу отдать я душу.

Завѣты «нарушаютъ», но не рушатъ, и кромѣ того, по грамматической конструкціи фразы, «ей» относится къ «любви», тогда какъ по смыслу оно должно относиться къ Арісін. Это небрежность слога. Слѣдующій отвѣтъ Инполита Тезею представляетъ еще бѣольшую неясность, вѣлѣдствіе искусственной перестановки словъ и неправильной конструкціи:

Тезей: Не докучай же мнѣ, коль средствъ другихъ не знаетъ  
Душа, лишенная не ложной чистоты.

Инполитъ: Притвориюу ея во мнѣ считаешь ты:

Во глубинѣ души къ ней въ Федръ больше  
вѣры.

Смысла послѣдней фразы приходится доискиваться, тогда какъ у Расина такъ просто и ясно сказано:

*Phedre au fond de son coeur me rend plus de justice.*

Переводчикъ затемнилъ значеніе фразы: во 1-хъ, необычнымъ сочетаніемъ — «во глубинѣ души... въ Федръ» вмѣсто «Федры», во 2-хъ, употребленіемъ безличнаго оборота тамъ, гдѣ «Федра» должна была служить подлежащимъ, и въ 3-хъ, перестановкой словъ, слишкомъ перепутанныхъ. Качественное различіе слога перевода и подлинника обнаруживается и при сравненіи слѣдующаго нѣсколько длиннаго періода, который мы выписываемъ цѣликомъ изъ монолога Инполита въ 1 явленіи 1 дѣйствія:

...Tu me contais alors l'histoire Ты, мнѣ столь преданный, своимъ повѣствованіемъ  
de mon père.  
Tu sais combien mon âme, at- О подвигахъ отца мой духъ воспламенялъ,  
tentive à ta voix,

S'échauffait au récit de ses nobles exploits,	Когда рассказывалъ, какъ смерт- нымъ замѣнялъ
Quand tu me depeignais ce heros intrepide	Алида мой отецъ, свершитель дѣлъ великихъ,
Consolant les mortels de l'absence d'Alcide,	На благо общее крушилъ чудо- вищъ дикихъ,
Les monstres étouffés, et les brigands punis,	Какъ собственной рукой каралъ злодѣевъ онъ.
Procruste, Cercyon, et Sciron, et Sinnis,	Убиты имъ Прокрустъ, Кер- кюнъ и Скиронъ,
Et les os dispersés du géant d'Epidaure,	Крять жаркой обогрилъ онъ кровью Минотавра,
Et la Crete fumant du sang du Minotaure:	И кости разметалъ гиганта Эпи- давра...
Mais quand tu récitais des faits moins glorieux	Когда же ты къ дѣламъ отца переходилъ,
Sa foi par-tout offerte et reçue en cent lieux,	Которыми свою онъ славу омра- чилъ:
Helène à ses parents dans Sparte derobée,	Какъ всюду расточалъ въ люб- ви онъ увѣренья,
Salamine témoin des pleurs de Peribée,	Какъ въ Спартѣ совершилъ Елены похищенье,
Tant d'autres, dont les noms lui sont même échappés,	Какъ Перибеею онъ заставилъ слезы лить
Trop credules esprits que sa flamme a trompés!	И воплемъ Саламинъ 'печаль- нымъ огласить,
Ariane aux rochers contant ses injustices,	И сколькимъ измѣнилъ другимъ, уже забытымъ,
Phedre enlevée enfin sous de meilleurs auspices,	Довѣрчивымъ сердцамъ, его любви открытымъ,
Tu sais comme à regret écou- tant ce discours	Какъ слала жалобы къ утесамъ горъ нѣмымъ
Je te pressais souvent d'en abreg- ger le cours,	И Ариадна, тамъ (гдѣ?) покину- тая имъ,

Heureux si j'avais pu ravir à la  
                                mémoire  
Cette indigne moitié d'une si  
                    belle histoire.

А наконецъ и то, какъ въ часъ  
                                благопріятный  
Похитилъ Федру онъ, — раз-  
                    скажъ тотъ непріятный  
Едва дослушивать я въ силахъ  
                    былъ всегда,  
И сократить его тебя просиль  
                    тогда (когда ?),  
Желая позабыть о слабости не-  
                    счастной,  
Позорящей отца въ той повѣсти  
                    прекрасной.

Въ русскомъ переводѣ есть кое-какія погрѣшности противъ стила, небрежность и неясность слога, которыхъ нѣтъ въ подлинникѣ. Прежде всего нарушена общая гармонія періода, въ высшей степени стройнаго, цѣльнаго и правильнаго во французскомъ текстѣ: антитеза доблестныхъ подвиговъ Тезея и его «менѣ славныхъ дѣлъ» выдержана Расиномъ почти въ одинаковомъ числѣ стиховъ, посвященныхъ перечню тѣхъ и другихъ дѣяній отца Ипполита, такъ что заключительный стихъ: «*cette indigne moitié d'une si belle histoire*», дѣйствительно какъ бы подводитъ итогъ обѣимъ «половинамъ» повѣствованія о жизни Тезея. Всѣ отдѣльныя предложенія въ обѣихъ частяхъ періода поставлены въ правильную зависимость отъ союза— *quand*, повтореннаго при переходѣ ко второй части повѣствованія, и только одно вводное предложеніе во второй части (*trop credules esprits que sa flamme a trompés*), служащее и опредѣленіемъ къ перечисленнымъ жертвамъ легкомысленной любви Тезея и въ тоже время лирическимъ возгласомъ Ипполита, подготавливаетъ выводъ послѣдняго: «*tu sais comme à regret écoutant ce discours—je te pressais souvent d'en abréger le cours*». У г. Поливанова классически-правильная конструкція періода не соблюдена: не говоря уже о замедленіи темпа въ быстромъ перечнѣ дѣяній Тезея,



которыя только намѣчаются, замедленіи — вставками въ родѣ: «свершитель дѣлъ великихъ», «на благо общее», «собственной рукой», мы видимъ, что переводчикъ, начавъ рядъ предложений съ союза «какъ», по временамъ опускаетъ союзъ и чередуетъ придаточныя предложенія съ главными, самостоятельными, затѣмъ опять съ союзомъ: «какъ смертнымъ замѣнялъ...», «на благо общее крушилъ...», «какъ собственной рукой...» и снова самостоятельно: «Убиты имъ Прокрустъ»... и пр. Во второй части періода получается неправильное согласованіе предложений: «когда же ты къ дѣламъ отца переходилъ... какъ всюду расточалъ... какъ въ Спартѣ... а, наконецъ, и то, какъ въ часъ благопріятный». Уже оборотъ: «переходилъ къ дѣламъ, какъ» не вполне правиленъ, а съ конструкціей «переходить... и то, какъ» мы отнюдь не можемъ согласиться, ибо такая небрежность слога не соотвѣтствуетъ характеру изложенія въ подлинникѣ.

На ряду съ крайней выработанностью и законченностью слога, преимущественно въ болѣе длинныхъ монологахъ лирико-эпического характера, Расинъ прекрасно передаетъ и отрывистую страстную рѣчь человѣка въ минуты аффекта. Эмиль Фагэ привелъ нѣсколько примѣровъ изъ «Андромахи» и «Британника» такихъ откровенно-правдивыхъ выраженій, поражающихъ своею естественностью («стою естественностью, которую Расинъ такъ сильно любилъ»), при чемъ правильно замѣтилъ, что — «при такихъ условіяхъ точное слово, ходячее выраженіе, прозаическій оборотъ не кажутся, какъ у Корнеля, да и совсѣмъ не могутъ казаться небрежностью (до такой степени зритель привыкъ къ неизмѣнному изяществу поэта); своею противоположностью эти выраженія производятъ впечатлѣніе правды, наивности и того именно, что и хотѣлъ изобразить авторъ». Вообще, замѣтимъ, и въ самомъ языкѣ Расина заключается весьма тонкая и глубоко-правдивая психологія, такъ что даже съ виду незначительныя отступленія отъ подлинника въ переводѣ могутъ привести къ нарушенію вѣрно выраженной, жизненной правды. Г. Поливановъ не избѣжалъ такихъ отступленій. Такъ, въ первой сценѣ Федры

съ Эноной, когда послѣдняя допрашиваетъ свою госпожу объ ея тайномъ недугѣ, заставляющемъ ее искать смерти, и почти насильно вырываетъ у нея признанье въ роковой, преступной страсти къ пасынку, — Федра, хотя и высказывается, но избѣгаетъ категоричныхъ отвѣтовъ; она какъ бы страшится называть вещи ихъ именами и прибѣгаетъ къ описательнымъ оборотамъ.

На вопросъ Эноны: «*aimez vous?*» — Федра отвѣчаетъ: «*de l'amour j'ai toutes les fureurs*». Это не реторика: Федра стыдится своего чувства, желала бы въ немъ сомнѣваться, не смѣетъ сразу сказать, что любить, но признаетъ, что ощущаетъ всѣ муки, всѣ терзанія любви, какъ бы всѣ ея симптомы. Этотъ описательный оборотъ сохраненъ въ переводѣ Чеславскаго:

«Люби терзанья всѣ терплю»

Между тѣмъ, г. Поливановъ придалъ слишкомъ грубо-откровенную форму отвѣту Федры:

Да, люблю. Горю любовью страстной.

Далѣе Федра, дѣйствительно, уже отъ себя говорить «*j'aime*» и дважды повторяетъ это слово, все же не рѣшаясь назвать по имени предметъ своей страсти («*à se nom fatal je tremble, je frissonne*»: русскій переводъ: «Мнѣ имя то одно внушаетъ страхъ великій» гораздо слабѣе выражено, чѣмъ страстная, прерывистая рѣчь подлинника: *je tremble, je frissonne*). Она опять-таки ищетъ обхода, начинаетъ издалека и придаетъ своему признанію форму вопроса, которую необходимо было удержать:

Tu connais ce fils de l'amazone

Ce prince si longtemps par moi-même opprimé?

Г. Поливановъ пренебрегъ указаннымъ соображеніемъ и заставляетъ Федру отвѣтить на вопросъ Эноны—кто ею любимъ? — прямо и категорично:

Сынъ амазонки дикой,

Котораго сама я такъ всегда гнала.



Но такое откровенное признаніе не соотвѣтствуетъ ни характеру, ни настроенію Федры и къ тому же ослабляетъ впечатлѣніе слѣдующаго затѣмъ возгласа:

Энона: О небо, Ипполитъ?

Федра: Его *ты* назвала.

У Расина Федра дѣйствительно еще не дала отвѣта на вопросъ, кого она любить? и посему, когда Энона, перебивая ея рѣчь, вдругъ догадалась къ чему она клонить — «Hippolyte? grands dieux!» — то Федра съ колнымъ правомъ говорить: «c'est toi qui l'a nommé!» Такія подробности врядъ ли могутъ быть названы мелочными, ибо они представляются какъ бы «бликами» на картинѣ, списанными съ натуры рукою мастера, который знаетъ имъ мѣсто; въ переводѣ же они оказываются сглаженными или перестановленными, такъ что картина теряетъ рельефъ и тускнѣетъ. Даже простая перестановка фразъ приводитъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ нарушенію психологически-вѣрной послѣдовательности мысли. Такъ, когда Федра, уступая просьбамъ Эноны, рѣшается высказать ей свою тайну, она тотчасъ же опять колеблется и говоритъ: Ciel, que lui vais je dire? et par ou commencer? Г. Поливановъ переставилъ эти фразы: «О небо, какъ начну? ужель я все открою?» Но логичнѣе, чтобы Федра сперва подумала о томъ — что она скажетъ? — а затѣмъ — съ чего начать?, въ XVII же вѣкѣ разуму, т. е. логикѣ придавалось особое значеніе и тотъ же Расинъ признавалъ главной заслугой Корнея, что — «il fit voir sur la scène la raison». Подобнымъ образомъ во II дѣйствіи, въ сценѣ объясненія Федры съ Ипполитомъ, когда первая говоритъ своему пасынку, что вполне заслужила его ненависть, такъ какъ сама всячески преслѣдовала его, она потомъ дѣлаетъ оговорку: «dans le fond de mon coeur vous ne pouviez pas lire». Г. Поливановъ поставилъ эту фразу раньше: «въ сердечной глубинѣ моей ты не читалъ», а затѣмъ: «ты могъ всегда лишь видѣть вражду къ себѣ мою» и пр. Мы противъ такихъ перестановокъ, потому что послѣдова-

тельность мыслей не случайное явленіе и вторая фраза непосредственно должна примыкать къ словамъ Федры: «когда бъ ты ненависть питалъ къ одной лишь мнѣ («одной лишь» совершенно излишне; нужно просто «ко мнѣ», а «лишь» должно было стоять передъ «ненависть»), не сѣтовала бъ я», являясь отвѣтомъ на вопросъ: почему не сѣтовала бы? Во 2-й сценѣ II-го дѣйствія, когда Ипполитъ сообщаетъ Арісїи о смерти Тезея, какъ бы забывшись, что онъ говоритъ съ его плѣнницей, и поминая отца лишь добромъ, онъ нѣсколько горячо восхваляетъ его, какъ друга, спутника и преемника Алкида, и тутъ же, спохватившись, передъ кѣмъ онъ говоритъ, извиняется, выражая надежду, что, какія бы Арісїя ни имѣла основанія ненавидѣть Тезея, она сознастъ и его доблести, и выслушаетъ безъ горечи всѣ эти «имена» или прозвища, которыя онъ заслужилъ. У Расина стихъ: *d'ami, le compagnon, le successeur d'Alcide* является въ концѣ извѣщенія о смерти Тезея и тогда вполне понятно о какихъ «именахъ» идетъ рѣчь. Г. Поливановъ сдѣлалъ перестановку:

Онъ, Геркулеса другъ, преемникъ и союзникъ (опять-таки послѣдовательность неправильная: сперва «союзникъ», потомъ «преемникъ»)

Богами Паркъ сданъ и сталъ Аида узникъ.

Потомъ вводное восклицаніе: Пусть пощадитъ твой гнѣвъ  
достоинства его!

и наконецъ: Всѣ эти имена владыки твоего (своего?),

Надѣюсь, выслушать безъ горечи ты можешь

И памяти его печальной не встревожишь.

Какія «эти имена»? Послѣднимъ является «Аида узникъ», которое, напротивъ, представлялось прїятнымъ извѣстіемъ для Арісїи, такъ что просьба выслушать «безъ горечи» звучитъ неожиданной и, конечно, вполне неумѣстной ироніей...

Мы позволили себѣ на послѣдокъ нѣсколько придирчивыя замѣчанія къ переводу г. Поливанова (двусмысленность, очевидно, заключается лишь въ выраженіяхъ, общій смыслъ кото-



рыхъ легко понять) потому, что къ подлиннику они не примѣнимы, и, казалось бы, не должно было бы имъ имѣть мѣсто и по отношенію къ безупречно-художественному переводу. Однако, хотя г. Поливанову не удалось сообщить своему переводу трагедіи Расина всѣ тѣ качества языка, которыми отличается подлинникъ, немаловажною заслугою его, на нашъ взглядъ, представляется попытка приблизиться къ простотѣ и естественности выраженій, при соблюденіи размѣра подлинника и довольно близкой передачѣ содержанія. Въ этомъ отношеніи переводъ г. Поливанова имѣетъ безспорныя преимущества надъ всѣми прежними переводами на русскій языкъ данной трагедіи Расина. Въ общемъ языкъ г. Поливанова правильный, литературный, слогъ безъ особой напыщенности, столь несвойственной Расину, вопреки утвердившемуся у насъ мнѣнію, и хотя, конечно, стихи г. Поливанова не могутъ соперничать съ мелодичными, «точеными» стихами Расина, хотя оригинальный текстъ нѣсколько обезцвѣченъ въ передачѣ, не всѣ выраженія безупречны, тѣмъ не менѣе переводъ не лишень и достоинствъ, которыя, быть-можетъ, помогутъ разсѣять заблужденіе, столь распространенное у насъ въ обществѣ, о «псевдо-классицизмѣ» ястаго французскаго классика Расина. Объяснительныя статьи (Патена, Дешанеля, П. Менара, Брюнетьера и два отчета объ игрѣ Рашели въ Федрѣ), приложенныя къ переводу, содѣйствуютъ той же благой цѣли.

Въ виду вышесказаннаго считаю переводъ г. Поливанова заслуживающимъ Пушкинской поощрительной преміи.

